

Сатира в “Письмах к Фалалею”

© В. Б. СОРОКИН,
кандидат филологических наук

Журнал Н.И. Новикова “Живописец”, выходявший в 1772–73 годах, стал одним из самых ярких явлений просветительской сатирической журналистики [1]. Именно в “Живописце” увидели свет высоко оцененные критиками и литературоведами “Отрывок из путешествия в *** И.Т.” и “Письма к Фалалею”. Часть ученых считают автором “Отрывка” А.Н. Радищева, другие отдают авторство Новикову. Нет единства мнений и об авторстве “Писем к Фалалею”. Высказывались предположения о принадлежности их перу Н.И. Новикова, М.И. Попова, Д.И. Фонвизина [2. С. 194–195].

В любом случае эти письма являются талантливым образцом просветительской гуманистической сатиры.

“Письма к Фалалею” [3] – это два письма от его отца Трифона Панкратьевича, по одному письму от матери Акулины Сидоровны и дяди Ермолая Терентьевича, а также примыкающее к ним письмо дяди к издателю “Живописца”. В этот комплекс также включена записка некоего П.Р., направившего в журнал первое письмо “уездного дворянина его сыну”, короткое сердитое письмо издателю самого Фалалея и немногословная информация редакции о планах напечатать ответ Фалалея своим родственникам, равно как и ответ издателя Фалалею.

Однако ответ Фалалея родным, якобы направленный издателю, опубликован не был. Надежда, что “свет узнает, каких свойств Ваш усердный слуга Фалалей ***”, не сбылась, но это создает, как и в случае с обещанным, но не напечатанным продолжением “Отрывка из путешествия в *** И.Т.”, ситуацию недосказанности или многозначительного умолчания, делая читателя равноправным участником литературной игры, соавтором, соратником-единомышленником издателя.

Именно это новое качество сатирической журналистики Н.И. Новикова, дающей “не прямое декларативное высказывание, а косвенно-ассоциативное выражение авторской мысли, которая нигде не высказана, но с математической точностью рождается в сфере рецепции вне журнального текста и над ним из сталкивания смыслов разных публикаций” [4. С. 187], относит О.Б. Лебедева к наиболее важным новиковским идеолого-эстетическим открытиям, без которых “немыслим колоссальный качественный эстетический скачок в литературе 1780–1790 годов” [Там же].

Такое “доверие к читателю” П.Н. Берков считает главным отличием стиля реалистической сатиры от классической, в произведениях которой «герой получал прежде всего “говорящее имя”, т.е. не его поступки, действия или суждения, а его имя определяло его внутреннее содержание» [2. С. 207–208].

Имена персонажей “Писем к Фалалею” обычны для неродовитого уездного дворянства. От простонародных их отличает только обращение по имени и отчеству, хотя между собой по-родственному они обходятся одним отчеством. Эти имена не являются “ярлыками” наподобие “говорящих имен”: Безрассуд, Пролаз, Надмена и т.п. К исключениям можно отнести только фамилию соседа Брюжжалова и имя самого Фалалея. “Словарь Академии Российской” объясняет слово “фаля” как простонародное: “непроворной, бестолковой, непредусмотрительной человек. Эдакой Фаля!” [5]. Еще более резкое истолкование дано в Словаре В.И. Даля: “Фаля (обл.) – простофиля, разиня, пошляк, самодовольный невежа, неуч, болван. Фалалей – повеса. Фаломить (ряз.) – городить пошлости, глупости”.

В качестве персонажа переписки образ Фалалея раскрыт недостаточно полно и последовательно. С одной стороны, он истинный сын своих родителей, с детства привыкший к жестоким проказам. “Как, бывало, примешься пороть людей, так пойдет крик такой и хлопанье, как будто за уголовье в застенках секут, таки бывало, животики надорвем со смеха”, – вспоминает о “забавах” сына отец Фалалея [3. С. 313].

Однако в письме к издателю “Живописца” сам Фалалей пишет, что после опубликования первого письма отца он “стыдился за порог выйти: казалось, что будто всякий думает то же самое и обо мне, что об отце моем”. Он передает издателю письма родных, чтобы в его “отмщение посмеются им люди” [3. С. 312].

Если судить по письму Фалалея, он кардинально изменился, хотя преобразование это ничем не мотивировано. Тем не менее в этом отречении от зверских крепостнических нравов с типичным для просветительской концепции человека педагогическим оптимизмом утверждается сама возможность такого обновления. Здесь можно усмотреть своего рода призыв к молодым дворянам следовать этому примеру. Судьбу Фалалея и характеры его родителей в определенной мере до-

полняет письмо, напечатанное под названием “Следствия худого воспитания” с подписью *Несчастный Е****. Некоторые детали поразительно совпадают с приметам жизни семейства Фалалея [З. С. 334–346].

Стиль письма Фалалея непритязателен, лишь троекратное “пусть” в завершении придает письму оттенок риторического пафоса. Зато колоритная, тонко индивидуализированная речь писем отца, матушки и дяди Фалалея не раз была отмечена как замечательное художественное достижение автора, который мастерски использовал стилистические средства не только для сословной характеристики, но и для личного раскрытия персонажа.

Форма письма как нельзя лучше соответствует этой цели. Предназначенные вроде бы для душевного общения близких людей, письма родственников в “Живописце” стали сатирическим саморазоблачением ценностно несостоятельных с просветительно-гуманистической точки зрения взглядов и убеждений провинциального дворянства.

Обширность круга затронутых проблем делает “Письма к Фалалею” маленькой энциклопедией своего времени, воссозданной в эмоционально-выразительной картине семейных отношений провинциальных помещиков. Не утратила справедливости высокая оценка, данная этим текстам полтора века тому назад: “Это целая семейная драма в письмах, написанная превосходным, по тому времени, языком, имеющая полноту и законченность” [6].

Стержнем образного ряда следует назвать лейтмотив сопоставления, сближения почти до тождества людей и животных – в данном случае это прежде всего собаки, как в “Недоросле” у Скотинина – свиньи, хотя и лошади и коровы – все в одном ряду с Акулиной Сидоровной.

Намеченная в первом письме “собачья” тема завершает послание “уездного дворянина” сыну сообщением, что любимые собаки Фалалеюшки живы-здоровы, поскольку мать “бережет их пуце своего глаза”. Папаша рассказывает, что “Сидоровна твоя всем кожу спустила” за недогляд за собакой сына, которую пришлось ворожее заговаривать от укуса бешеной собаки.

Уже этого фрагмента достаточно, чтобы понять, насколько жестоко относятся родители Фалалея к крепостным, которых секут до беспамятства, двенадцать раз меняя розги и приводя в сознание ледяной водой. Далее тема собак, служащая для контрастного показа крестьянской жизни, которая хуже собачьей, продолжена во втором письме, когда папаша вспоминает, какой Фалалей “был проказник смолоду”: охотников сек за то, что их собаки перегоняли Фалалеевых, а собак вешал, когда они “худо гоняли за зайцами” [З. С. 363].

После этого отец переходит к рассказу о болезни Акулины Сидоровны, которая лежит при смерти из-за того, что собаку сына “кто-то съездил поленом и перешиб крестец”. Понятно, что слуги решились отомстить за хозяйские розги. В этом полене едва ли не намек на ду-

бину мщенья самим помещикам. Помещица, услышав об этом, “свету белого не взвидела, так и повалилась! А после, как опомнилась, то пошла это дело разыскивать и так что надсадила себя, что чуть жива пришла и повалилась на постелю”. Но более всего потрясает умозаключение отца по этому поводу: “Знать что, Фалалеюшка, расставаться мне с женою, а тебе с матерью и с Налеткою, и она не лучше матери. Тебе, друг мой, все-таки легче моего: налеткины щенята, слава богу, живы! Авось таки который-нибудь удастся по матери, а мне уж эдакой жены не найти” [З. С. 364].

В письме матушки Фалалея о собаках нет ни слова, зато письмо дядушки пестрит “скотскими сравнениями”: “Отец твой, сказывают, воет, как корова... Как Сидоровна жива была, так отец твой бивал ее, как свинью, а как умерла, так плачет, как будто по любимой лошади” [З. С. 367].

Таков набор “скотских сравнений”, служащий целям сатирического обличения *скотонравных* помещиков.

В логике рассуждений героев переписки можно выделить два аспекта. Первый – утвердительный – это увещания и советы родственников Фалалею, аргументы и доказательства их правоты. Советы эти можно назвать не столько вредными, сколько “подлыми”. При этом обличительный эффект резко усиливается тем, что персонажи искренне не понимают этого.

Советы Фалалею касаются разных сторон жизни, но главным образом, службы, хотя и не ограничиваются только этим. Следуя художественному замыслу автора, логике раскрытия характеров каждого из участников переписки, меняется смысл, тональность и мера цинизма советов и наставлений.

Первое письмо начинается с внешне благочестивого увещания беречь святцы, которыми благословил отец, ибо остались они в наследство от деда, благословленного этим “канунником” Ильинским батюшкой. А вот дальше идет список добра, отданного священнику за это благословление, т.к. “он ничего свое даром не давал” [З. С. 334]. И сказав про “поповские завидливые глаза”, отец советует: “А ты, Фалалеюшка, с полами знайся, да берегись; их молитва до Бога доходит, да убыточна” [З. С. 334]. Так благочестивое напутствие завершается резким антиклерикальным выпадом.

Следующее увещание – не общаться с немцами: “Пожалуйста, Фалалеюшка, не погуби себя, не заводи с ними знакомства, провались они, проклятые!” Это “немцеество” показывает, с одной стороны, дремучесть провинциального домоседа, не желающего знать ничего нового в противовес модной столичной галломании. Но причин для недовольства засильем всего иноземного и у истинных патриотов было достаточно, а немецкая тема затрагивала не моду, а политику и, косвенно, императрицу.

И последний совет отца: “Нутка, Фалалеюшка, вздумай да взгадай, да поди в отставку, полно, друг мой, ведь ты уже послужил, лбом стену не проломить, а коли не то, так хоть в отпуск приезжай” [3. С. 337].

Полностью отношение к службе, лишь обозначенное в первом письме, раскрыто во втором письме отца и послании дядюшки. Отец пишет: “Слушай же, сынок, коли ты хочешь опять прийти ко мне в милость, так просись в отставку, да приезжай в деревню. Есть кому и без тебя служить, пускай кабы не было войны, так бы хоть и послужить можно было, это бы свое дело, а то ведь ты знаешь, что нынча время военное, неровно, как пошлют в армию, так пропадешь не за копейку” [3. С. 362].

И это пишет “почтенный драгунский ротмистр”, как он сам себя называет! Открытый призыв отпраздновать труса и уклониться от исполнения святого дворянского долга – защиты Отечества. “Пусть у тебя не будет Егорья, да будешь ты зато поздоровее всех егорьевских кавалеров. С Егорьем – то и молодые люди частенько поохивают, а которые постарше, так те чуть дышут: у кого руки перестрелены, у кого ноги, у кого иного голова, так радостно ли отцам смотреть на детей изуродованных, и невеста ни одна не пойдет”, – убеждает отставной драгун, явно не удостоенный награды, да и не ставший до больших чинов дослуживаться, чтоб не riskовать здоровьем, ушедший в отставку в обер-офицерском чине, видимо, не без помощи взятки лекарю да судье, как он сам о прежних порядках рассказывал [3. С. 335].

Более цинично говорить о военной службе вряд ли можно. Это настолько оскорбительно для патриотических чувств соотечественников, что окончательно делает Трифона Панкратьевича фигурой презренной и омерзительной.

Дядюшка Фалалея занят сутяжничеством: “Которая десятина земли принесет мне столько прибыли, как мое бесчестье? ... Я-таки свое утверждаю, что бесчестье скорее всего разбогатеть можно” [3. С. 394]. Ермолай Терентьевич гордо заявляет, что “имеет патент”, которым полевается “признавать и почитать его за доброго, верного и честного титулярного советника”, и хвалится тем, что тяжбами за бесчестье накопил трем дочерям на приданое, а издателя просит по-доброму, “как водится между честными людьми”, заплатить за публикацию письма только ему и жене. И грозит, что по суду взыщет еще и на троих сыновей-недорослей, и на четырех дочерей, а если к тому времени пятая родится, то и на пятую. Стало быть, предлагая без суда отдать деньги, он поступает “по-христиански, как довлеет честному и доброму человеку” [3. С. 394].

Дядюшка продолжает “добрые” советы: “Приезжай, друг мой, Фалалеюшка. Ты сам увидишь, что тебе дома жить будет веселее петербургского. А буде не угодно, то хоша туда просись, куда я тебе присоветую, сиречь к приказным делам, да только где похлебнее, на при-

клад, в экономические казначеи или в управители дворцовых волостей или куда-нибудь к подрядным, либо таможенным делам. В таких местах кому ни удалось побыть, так все бы с ними сытехоньки стали” [3. С. 367].

В пример дан Авдул Еремеевич, который, “хотя не долго пожил при монастырских крестьянах, да уж всех дочек выдал замуж. А кабы да его не сменили, так бы он гораздо понагрел руки около нынешних рекрутских наборов” [3. С. 367]. Секрет благополучия – в казнокрадстве и поборах: “Кресты да перстни – все те же деньги, только умей концы хоронить. Лишь только поделись, Фалалеюшка, так и концы в воду” [3. С. 367].

На приказном жаргоне XVIII века слово *взятка* заменялось словом *акциденция*, т.е. дополнительный доход, как бы вполне допустимый. И взятка – это не воровство, как доказывает дядюшка: “Вор тот, который грабит на проезжей дороге, а я бираю взятки у себя в доме, а дела вершил в судебном месте... А похищение и воровство не одно: первое не что иное, как утайка, а другое – преступление против законов и достойно кнута и виселицы” [3. С. 393].

“Кто перед Богом не грешен, кто перед царем не виноват, не нами и свет начался, не нами и окончится. Что в людях ведется, то и нас не минется, не пойман, не вор”, – вещает дядюшка, окончательно доказывая повсеместность и обыденную заурядность взяточничества и казнокрадства в дополнение к перечислению доходных для службы племянника ведомств – “рекомендательный” список охватил практически все сферы государственного управления.

Особый ряд доводов и аргументов в пользу своих убеждений отец и дядя Фалалея выстраивают из пословиц и поговорок: *Лбом стену не прошибешь, Не всем старцам в игумнах быть, Богу молись, а сам не плошись, Живучи столько вместе и горшок с горшком столкнется, как без этого!* – это к совету, как жить с женою, брать пример с родителей: “Мы хоть и дирались с нею, да все-таки живем вместе” [3. С. 364].

Второй аспект в рассуждениях персонажей – осудительный. Это нападки невежественного провинциала на положительные ценности: журналы, прогрессивные законы, примеры гуманного отношения к крестьянам и т.п. Итак, чем же недовольны уездные дворяне? Стилистически это недовольство оформлено автором как сетование, сожаление или вопрошание, недоумение.

Первое огорчение отца Фалалея: “Дедушкины-та, свет, грехи дороженьки становились. Кабы он, покойник, поменьше с попами возилась, так бы и нам побольше оставил”. Как помещик с крестьян, так и поп с прихожан, включая дворян, “готов хоть кожу содрать”. Таким образом, не остается сомнения, что алчность священников стала национальным бедствием и уж никак не способствует укреплению веры.

Вторая беда – виновная монополия государства: “Экое времячко, вот до чего дожили, что и вина своего нельзя привезти в город, пей, де, вино государево с кружала”.

Третья напасть – ограничение самоуправства: “Сказывают, что дворянам дана вольность, да чорт ли это слышал, прости господи, какая вольность? Дали вольность, а ничего не можно своею волею сделать, нельзя у соседа и земли отнять. Нынче и денег отдавать в проценты нельзя, больше шести процентов брать не велят, а бывало, так брали на сто и по двадцати пяти рублей. Нет-ста, кто что ни говори, а старая воля лучше новой”. Оппозиция положительного и отрицательного обозначена здесь как противостояние нового и старого: “Нынче и за море ездить не запрещается, а в Кормчей книге положено за это проклятие”. За коляски с дышлами будто также положено проклятие, зато о взятках и грабительских процентах в Кормчей книге вроде бы ничего не сказано, стало быть, и проклятия на душе не будет. Вот логика ретрограда и абсурдные ссылки на старинные уложения. Ведь если исполнять современные запреты, рассуждает помещик, так и разбогатеть нечем. “А с мужиков ты хоть кожу сдери, так не много прибыли... секу их нещадно, а все прибыли нет, год от году все больше мужики нищают... Право, Фалалеюшка, и ума не приложу, что с ними делать”, – сокрушается Трифон Панкратьевич [3. С. 336].

Еще одно противопоставление подчеркивает ценностную несовместимость воззрений провинциала и столичных жителей: «Что это у вас, Фалалеюшка, делается, никак с ума сошли все дворяне? Что за “Живописец” такой у вас проявился?» [3. С. 336].

“Отпиши, Фалалеюшка, что у вас в Питере делается: сказывают, что великие затеи. Колокольню строят и хотят сделать выше Ивана Великого... Нынче вера пошатнулась, по постам едят мясо и хотят сами все сделать, а все это проклятая нехристь делает: от немцев житья нет!” – негодует провинциал [3. С. 335].

У вас и у нас – вот полюсы разума и невежества, просвещенности столиц и дикости провинции.

Далее уездный дворянин полемизирует с издателем. “Живописец” говорит, что “помещики мучат крестьян и называет их тиранами, – возмущается отставной ротмистр, – а того, проклятый, и не знает, что в старину тираны бывали некрещеные и мучили святых: посмотри сам в Четьи-Минеи”. И далее идут ссылки на Святое Писание для обоснования правильности существующих порядков.

Читатель легко выстраивает ряд: помещики подобны тиранам-язычникам, а крестьяне – великомученики, оправдывать это, ссылаясь на Библию, – святотатство. Просто нечистая совесть помещиков ищет оправдания, заставляя заигрывать, спекулировать на вечных ценностях человечества. Наконец, последний злобный выпад провинциального дядюшки-ретрограда вновь направлен против “Живописца”.

Ермолай Терентьевич сравнивает журнальную сатиру с постельной собачкой жены, которая “брешет на всех и никого не кусает... хоть и дана воля брехать на всех, только никто не боится”. Бывший титулярный советник злорадно спрашивает: “Кто тебя послушается или кто испугается, когда не слушаются и не боятся законов, определяющих казнь за преступление?” [3. С. 394].

Вновь можно говорить об эффекте отраженного действия: насмешка над журналом рикошетом поражает неэффективность законов и судопроизводства, безнаказанность жестокости, воровства и произвола, когда за малое хищение судят, а за большое “отпускают жить в своих деревнях”.

Как поучения, так и осуждения в устах непросвещенного провинциала оборачиваются беспощадным разоблачением его искаженной системы ценностей, оскорбляющей все лучшие чувства честного человека.

Важно отметить, что если в целом установка дворянско-просветительской критики обычно была нацелена на то, чтобы сделать объект критики презренным, жалким, но все же не ужасным и отталкивающим, то в новиковских текстах, а позже и в радищевских звучит искреннее нравственное возмущение жесткостью крепостничества, ханжеством и беззастенчивым мздоимством скотонравных помещиков и приказной братии.

Литература

1. Бабкин Д.С. К раскрытию тайны “Живописца”. Русская литература. Л., 1977. № 4. С. 109.
2. Берков П.Н. История русской журналистики. М.–Л., 1952.
3. Сатирические журналы Н.И. Новикова. Редакция, вступ. статья и комментарии П.Н. Беркова. М.–Л., 1951.
4. Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века. М., 2003. С. 187.
5. Словарь Академии Российской... СПб., 1789–94.
6. Булич Н.Н. Сумароков и современная ему критика. СПб., 1854. С. 281.



Предисловия “под маской”

© О. Г. ЛАЗАРЕСКУ,
кандидат филологических наук

Предисловие – традиционная и активно используемая авторами различных эпох литературная форма. В древнерусской литературе и литературе XVII – начала XVIII веков функционирование предисловий определялось задачами воспитания читателя, разъяснения ему тех целей, которые ставил в своем произведении автор. Общая дидактическая направленность этих предисловий определила их типовую форму [1, 2]. «Стереотип помогал читателю “узнавать” в произведении необходимое настроение, привычные мотивы, темы» [3].

Среди таких стереотипов, способствующих установлению контактов автора со своими читателями, важнейшими были рассуждения о пользе книг, краткий пересказ истории в интерпретации автора, моральное резюме, просьбы о милости и снисхождении со стороны читателя/зрителя, а также указания на художественные достоинства произведения, его “украшенность” – “исправность”. Так, в предисловии к пьесе “Гистория о Кире царе перском и царице Тамире скифской” после панегирической части (восхваления “храбрая подвиги прежде бывшия Тамиры, стершия главу злоненавидному крови человеческия Киру”, и хуления “злоненасытнаго и завистнаго врага” Кира) следует краткое описание событий, эмоционально подготавливающее зрителя/читателя к истории, “удивления достойной”, как ее характеризуют сами создатели спектакля: “Повествуют гисторики, яко Кир царь перски зело распалися завистию <...> Она побеждает мужа храбраго и силнаго, чего ради поистине удивления достойная сия гистория” [4. С. 580–581].

Финал всего предисловия обращен к “благоохотнейшим” зрителям, их милости и снисхождению к возможным недостаткам, “неисправлениям” спектакля: “мы, училищная юность, изобразующе феатром сим историю, усердно и уничижено просим вас, да еще, что не исправно или что не украшено от скудоумия нашего будет, вашим благоприятием исправить и рассуждением. Не тако бо трудами нашими, яко вашим зрением мнится действие наше украсити. Вас, господ,

просим вси: присудствия зде даровавши, благоприятнейшее зде зрети наше изложение” [4. С. 602].

Такие обращения были призваны установить эмоциональное и идейное единение автора произведения и его читателя/зрителя, сформулировать общезначимые ценности, основанные на универсальных, “повсюдных” законах человеческого бытия.

Однако со временем традиционные способы самопредставления менялись, подчас становились объектом пародийной рефлексии писателей. В литературе Нового времени предисловие нередко не только не давало читателям четких эмоциональных и смысловых ориентиров, но намеренно запутывало их, вводило в атмосферу необязательности, несерьезности, шутовства. Само объяснение автором своих намерений ощущалось как “лишнее” и требовало особых оговорок. В 1730 году В.К. Тредиаковский опубликовал роман “Езда в остров Любви” (перевод П. Тальмана), сопроводив его обращением “К читателю”, в котором с первых же строк будто бы извинялся за необходимость в прямом и открытом объяснении своих намерений: “Хотя ныне много искусных щитают предисловия при книгах за весьма непотребной придаток: Однако мне, доброжелательный читателю, ни по какой мере обоитися было невозможно, чтоб, дая новую Российскому свету сию книжку, не донести вам о том, что до оныя касается, и что вам ведать всячески надлежит” [5. С. 647]. Поэтическое приложение к “Езде в остров Любви” – “Стихи на разные случаи” – он также сопроводил “Известием к читателю”, в котором уже открыто предполагал свободу читательского выбора: “Ежели *охотливый читателю*, оныя вам покажутся, то обещаюсь и другими со временем вас увеселять; а буде не понравятся, то я во вся замолчу, и больше вам скучить не буду” [5. С. 734].

С наибольшей очевидностью отказ от дидактической задачи проявился в предисловиях от лица вымышленного автора/рассказчика/издателя. Такие предисловия несут в себе особую “точку зрения” на события, героев, окружающий мир, акцентируют те или иные ценности, “подчеркивают дистанцию между реальным автором и создаваемой им эстетической реальностью, нередко обнажают авторскую иронию и сарказм” [6]. Они располагают к иронической многозначности в понимании представляемой истории. Прямое авторское слово в них заменено словом “оговорочным”, “под маской” (М.М. Бахтин), представляющим одно из возможных видений и интерпретаций истории. Принципиальной становится установка на свободное восприятие и понимание текста.

В предисловиях от лица вымышленного автора “старые” формулы автопрезентации наполняются новым содержанием, чаще всего снижающим те высокие общезначимые ценности, к которым обращены традиционные предисловия. Так, М.Д. Чулков в сборнике “Пересмешник, или Славенские сказки” (1766–1768) вкладывает “предупреждение” в уста вымышленного собирателя историй – Русака, который

“низводит” предисловие к задаче предупреждения о том, что его книга – “безделица”, сам он – человек, умеющий очень хорошо лгать, хотя у него нет намерения обманывать читателя. Пользу книг связывает со стремлением насмешить и “научиться” писать. При этом не упускает случая “уколоть” авторов, которые пишут предисловия, дабы завоевать своего читателя, установить с ним эмоциональную и идейную солидарность. В одной из сказок, надев “колпак” одного из таких писателей, он замечает: “...это я рассуждаю как такой человек, который желает угодить свету, и ежели мне прикажут, то я в удобность моих знакомых сделаю предисловие к этой книге в двадцать четыре тома и этим докажу, что я на все согласен” [7].

В романе “Пригожая повариха, или Похождение развратной женщины” (1770) Чулков использует прием прямого обращения к читателям, предпосылая основному тексту предисловие от Сочинителя и стихотворное “Предуведомление”. Писатель предваряет свой роман стилистически и образно противостоящими друг другу “мирами”: официально-панегирическим, соответствующим образу “его высокопревосходительства”, чьи “разум, добродетели и снисхождения” возвели его на “высокую степень”. И миром простого, но “разумеющего” человека (*чтеца, дельца, писца*), которого в стихотворном “Предуведомлении” Чулков называет “другом”, “любимым читателем”, понимающим шутку, иронию, способным непредвзято оценить предлагаемую историю. Сам образ читателя строится на скоморошьих ассоциациях:

Вверх дном ты книги взять, конечно, не умеешь,
А станешь с головы рассматривать ее
И будешь видеть в ней искусство все мое [7].

Предисловие, как “оптический прибор”, фокусирует тематику и стиль самого художественного произведения. В своем предисловии Чулков противопоставил традиционному провозглашению общезначимых высоких истин утверждение о бренности, “ничтожности” своего творения: “Все, что ни есть на свете, составлено из тлена, следовательно, и... сия... книга сделана из тлена. Все на свете коловратно; итак, книга сия теперь есть, несколько времени побудет, наконец истлеет, пропадет и выйдет у всех из памяти. Человек родится на свет обзрети славу, честь и богатство, вкусить радость и утеху, пройти беды, печали и грусти; подобно и книга сия произошла на свет, чтобы снести ей некоторую тень похвалы, переговоры, критику, негодование и поношение. Все сие с нею сбудется и наконец превратится в прах, как и тот человек, который ее хвалил или порочил” [7].

А обращение к читателю писатель перевел из сферы наставлений, разъяснений смысла и назначения своей книги в сферу приватности и дружества. Традиционные просьбы о милости и снисхождении к недо-

статкам представленной на суд читателя книги у Чулкова также построены на скоморошьях ассоциациях:

Погрешности мои все в оной находи,
Но только ты, мой друг, не строго их суди <...>
А я не поучен ни в дудку, ни плясать,
Так, следовательно, могу и промах дать [7].

Традиция иронического, шутливого предисловия, или предисловия “под маской”, получила широкое распространение в русской литературе XVIII–XIX веков. Так, Карамзин в предисловии к “Наталье, боярской дочери” (1792) связывает написание книги с непреодолимым желанием “марать бумагу”, “взводить небылицы на живых и мертвых, испытывать терпение своих читателей и, наконец, подобно вечно-зеваящему богу Морфею, низвергать их – на мягкие диваны и погружать в глубокий сон” [8. С. 199]. Необходимость же в написании предисловия, по признанию писателя, вызвана частным интересом – потребностью передать “восторг” рассказчика от встречи с прапрабабушкой, которая была мастерицей “сказывать сказки” и от которой тот услышал предлагаемую историю: “Так, я буду продолжать, буду ... Но прежде должно мне отдохнуть; восторг, в которой привело меня явление пра-прабабушки, утомил душевные мои силы. На несколько минут кладу перо – и сии написанные строки да будут вступлением или предисловием!” [8. С. 200–201].

Литература

1. Демин А.С. Древнерусские рукописные книжные предисловия XI–XII вв. (на пути к массовому адресату) // Тематика и стилистика предисловий и послесловий (Русская старопечатная литература XVI – перв. четв. XVIII вв.). М., 1981. С. 14–16.
2. Елеонская А.С. Русские старопечатные предисловия и послесловия втор. пол. XVI – перв. пол. XVII вв. (патриотические и панегирические темы) // Тематика и стилистика предисловий и послесловий (Русская старопечатная литература XVI – перв. четв. XVIII вв.). М., 1981. С. 71.
3. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 71–72.
4. Ранняя русская драматургия (XVII – перв. пол. XVIII в.). Пьесы столичных и провинциальных театров перв. пол. XVIII в. М., 1975.
5. Сочинения Тредьяковского. Изд. Алекс. Смирдина. СПб., 1849. Т. 3.
6. Ламзина А.В. Рама произведения // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001. С. 852.
7. Чулков М.Д. Пересмешник. М., 1987. С. 171–172, 262, 261, 263.
8. Карамзин Н.М. Мои безделки. Часть 1. М., 1797.

Момент и миг у Ф.М. Достоевского

© М. П. ГАЛЫШЕВА

Слово *момент* у Достоевского встречается в два раза реже *мгновения* (см.: Русская речь. 2008. № 4). Новым, в отличие от предыдущих временных обозначений, здесь будет то, что использование этого слова, например, в романах “Пятикнижия” выявляет определенную тенденцию: на уровне языка Достоевский со временем начинает все более дифференцировать “малые” временные обозначения, закрепляя за ними все более определенное психологическое значение. В “Преступлении и наказании” (1866) совсем немного упоминаний слова *момент*, контексты довольно нейтральны и половину из них составляют языковые штампы: “до последнего момента”, “в настоящий момент”.

Примеры совсем иного характера дает роман “Идиот” (1868): здесь в “моментах” описываются наиболее драматичные эпизоды. Можно сказать, что в “Идиоте” этот малый промежуток времени совпадает с теми значениями, которые выражает *минута*. Мышкин, рассказывая о приговоренном к смерти преступнике, просит Аделаиду изобразить на картине “тот самый момент, когда он поднялся на лесенку и только что ступил на эшафот” [1. Т. 8. С. 55] (Курсив здесь и далее наш. – М.Г.). В “моментах” воспроизводится состояние “ясной, гармоничной радости и надежды”, света и озарения, которое было предчувствием “той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок” [Т. 8. С. 188]. Мышкин приходит к выводу, что “конечно, этот момент сам по себе и стоял всей жизни” и в “этот момент <...> как-то становится понятно необычайное слово о том, что *времени больше не будет*” (курсив Достоевского) [Т. 8. С. 189]. Таким образом, в контексте романа слово *момент* аккумулирует опыт, расцениваемый, по крайней мере, самим персонажем как высший в психологическом и духовном планах, а в случае с эпилептическим припадком Мышкина связывается с прозрениями и выходом за пределы трехмерного мира в вечность.

Заметно меняется понимание “момента” в романе “Бесы” (1872). Слово *момент* здесь все меньше используется для усиления драматизма повествования – и чаще употребляется нейтрально в сочетаниях “в настоящий момент”, “в данный момент”, “в описываемый момент”, которые в тексте функционируют просто как синонимы “настоящего времени”. В “Бесах” нет контекстов, в которых *момент* обозначал бы мгновение выхода в вечность или особую интенсивность ощущения и

переживания жизни, как в “Идиоте”. Более того, в этом романе “момент” вообще не является знаком внутренней, духовной жизни героя, и скорее возникает при взгляде на него извне. Так, в эпизоде убийства Шатова о поведении Лямшина говорится: “Бывают сильные *моменты* испуга, например когда человек вдруг закричит не своим голосом, а каким-то таким, какого и предположить в нем нельзя было раньше, и это бывает иногда даже очень страшно” [Т. 10. С. 461].

“Момент” описывает организацию внешнего мира, отношения с другими людьми и внешние связи, в которые нередко помимо воли включен герой. “Пятёрка”, собираемая Верховенским, обязана, действуя пожарами, <...> свергнуть страну, в *предписанный момент*, если надо, даже в отчаяние”, и ее члены “сплотились в отдельную организацию свободного собрания единомыслящих, чтобы в общем деле разделить друг с другом, в *данный момент*, энергию и, если надо, наблюдать и замечать друг за другом. Каждый <...> обязан высшим отчетом” [Т. 10. С. 418]. Кириллов должен “в данный момент” принять “дело Шатова” на себя. В таком “моменте” отрицается внутренняя свобода человека, а также духовное, высшее значение происходящего.

На это не обращает внимания циничный Верховенский, когда, желая на некоторое время отвести подозрения от себя, “списав” все преступления на застрелившегося Кириллова, называет самоубийство “моментом”, как бы тем самым превращая заявление своеволия Кирилловым в действие, подчиненное делам пятёрки и, таким образом, лишенное высшего смысла: “Э, да мы в ярости? – отчеканил он все с тем же видом обидного высокомерия, – в такой *момент* нужно бы скорее спокойствие” [Т. 10. С. 465]. Но разницу между “мгновением” и “моментом” Верховенский знает хорошо. Ставрогин, называя Петра Степановича энтузиастом, говорит, что “есть такая точка, где он перестает быть шутом и обращается в... полупомешанного” [Т. 10. С. 193]. В этой точке у Верховенского также начинается счет на “мгновения”, и для осуществления такого “мгновения” ему необходим Ставрогин, без которого он – “Колумб без Америки”: “Вот видите, я пред вами, столько от вас ожидаю, ничего не потаю: ну да, у меня уже давно эта идея об огне созрела <...> я берег ее на критический час, на *то драгоценное мгновение*, когда мы все встанем и... А они вдруг вздумали своевластно и без приказа теперь, в такое мгновение...” [Т. 10. С. 404].

Постепенно “момент” все более становится обозначением фабульного времени.

В романе “Подросток” *момент* как ценностное понятие еще более подвергается сомнению. Ощущение момента, чувство момента – это что-то случайное и непрочное, не несущее в себе знания об истине. Подросток сразу утверждает: “непрерывность и упорство в наживании и, главное, в накоплении сильнее *моментальных* выгод даже хотя бы и в сто на сто процентов!” [Т. 13. С. 68]. Версиков говорит, что

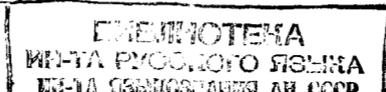
мысль обратить камни в хлебы – «очень великая <...> но не самая; великая, но второстепенная, а только в данный *момент* великая: наестся человек и не вспомнит; напротив, тотчас скажет: "Ну вот я наелся, а теперь что делать?" Вопрос остается вековечно открытым» [Т. 13. С. 173]. Таким образом, данный момент, настоящее теряют ценность рядом с вечностью, в то время как "минута" оказывается ей равновеликой. Наконец, по мнению Версилова, фотографические снимки редко выходят похожими на оригинал, оттого что человек редко бывает похож на себя, тогда как художник "изучает лицо и угадывает эту главную мысль лица, хотя бы в тот *момент*, в который он списывает, и не было ее вовсе в лице" [Т. 13. С. 370].

В "Братьях Карамазовых" (1881) "момент" в значении временного промежутка употребляется около сорока раз, но половина употреблений приходится на речь прокурора в суде, когда он излагает свое "психологическое" понимание того, что произошло в семье Карамазовых – и ошибается в выводах. Ипполит Кириллович, стараясь разобраться в "моментах" душевной жизни подсудимого, одновременно рассчитывает на эффект своего красноречивого выступления и выглядит почти сатирическим персонажем. Он же отказывается от обвинения Смердякова, поскольку не может ответить на вопрос: "где тот *момент*, когда Смердяков совершил свое преступление?" [Т. 15. С. 140], то есть как-то хронологически определить событие.

О "моменте" в метафизическом смысле в романе говорят только четыре персонажа. Это Иван, который и в "момент гармонии" оправдать не сможет всего того, что случилось с людьми; Великий Инквизитор, говорящий о природе человеческой, не способной отвергнуть чудо в "такие страшные *моменты* жизни, *моменты* самых страшных основных и мучительных душевных вопросов" [Т. 14. С. 233]; Смердяков, который иезуитски рассуждает об отречении от веры, раскладывая процесс на "моменты" и тем самым защищая отступника, и, наконец, черт, рассказывающий об "отцах пустынных", которые «такие бездны веры и неверия могут созерцать в один и тот же *момент*, что право иной раз кажется только бы еще один волосок – и полетит человек "вверх тормашки", как говорит актер Горбунов» [Т. 15. С. 80]. Но все эти четыре персонажа, по мысли Достоевского, принадлежат одному расколотому сознанию, проникнутому идеей бунта, и в их устах "момент" – не миг выхода в вечность, а искушение веры.

В "Братьях Карамазовых" момент также используется как фабульное время, для объединения действий, обозначения одновременности или стремительности событий.

Наконец, еще одно обозначение краткого временного промежутка – слово *миг* – нечасто встречается у Достоевского и скорее тяготеет к нейтральному языковому штампу, чем к значимому понятию в философско-поэтической системе писателя. Миг обозначает стремитель-



ную смену событий, скорость человеческих реакций. Миг всецело принадлежит сфере человеческих отношений и оказывается необходимым для любовного и авантюрного сюжета, подчас обозначая такую легкость смены событий и поступков, какая присуща только мечтам или сновидениям. Варвара Петровна делится успехами после своей заграничной поездки: “Гляжу, а тут финтит эта Лембке и при ней этот кузен, старика Дроздова племянник – все ясно! Разумеется, я *мигом* все переделала, и Прасковья опять на моей стороне, но интрига, интрига!” [Т. 10. С. 49]. Таким образом, *миг* – это временное измерение интриги.

Итак, в своих произведениях Достоевский оперирует очень малыми временными отрезками – это неизбежно отражается как на построении интриги, так и на психологической организации персонажа. Думается, во многом то, что основная смысловая нагрузка ложится именно на малые временные единицы, позволило Бахтину говорить об отсутствии категории времени в художественном мире Достоевского. В книге “Проблемы поэтики Достоевского” исследователь приходит к выводу: “Основной категорией художественного видения Достоевского было не становление, а сосуществование и взаимодействие. Он видел и мыслил свой мир по преимуществу в пространстве, а не во времени. <...> Разобраться в мире значило помыслить все его содержания как одновременные и угадать их взаимоотношения в разрезе одного момента” [2].

При частом смещении хронологических понятий (час, минута, секунда) писатель соблюдает удивительное постоянство в выражении дополнительных, но более важных для него значений философско-психологического характера, придаваемых в его художественном мире отдельным временным единицам. Так, при всей сигнификативной близости слов *минута*, *мгновение*, они различаются и употребляются в специфических контекстах. Очевидно, язык временных обозначений используется Достоевским метафорически для описания духовных исканий героев; довольно четко дифференцируемые в художественном мире писателя, временные обозначения становятся характерным для него средством выражения философских и психологических смыслов.

Литература

1. Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990. Далее указ. том и стр.
2. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972 С. 47–48.



Реминисценции в “Жизни Тургенева” Б.К. Зайцева

© А. В. ГРОМОВА,
кандидат филологических наук

Художественная биография “Жизнь Тургенева” (1931) – одно из самых известных произведений Б.К. Зайцева. На нее отозвались ведущие критики русской эмиграции: Г. Адамович, Н. Андреев, П. Бицилли, Ф. Степун, за рубежом она изучалась Г.П. Струве, Л.Д. Ржевским, А. Шиляевой, в отечественном литературоведении 1980–2000-х годов она привлекла внимание Л.Н. Назаровой, Н.Н. Жуковой, О.А. Кащур, Н.И. Завгородней, А.В. Ярковой, И.А. Минаевой. В работах этих ученых охарактеризована специфика жанра художественной, или “беллетризованной” биографии, выявлены ее документальные источники, проанализирована авторская концепция личности и творчества Тургенева.

Хотя произведение написано по канве документальных материалов (переписки, воспоминаний), следование факту не исключает разнообразных способов беллетризации текста. Одним из таких способов является использование литературных реминисценций, формирующих в книге мотив сакрализации женственности.

Мифологизированное восприятие женского начала было характерной чертой литературы символистского направления. Л.А. Пермякова, рассмотревшая это явление в прозе русского символизма, включила в круг анализируемых текстов повесть Зайцева “Голубая звез-

да”, содержащую соловьевский мотив Вечной Женственности [1]. Введение повести Зайцева в символистский контекст правомерно: писатель испытал увлечение философией В.С. Соловьева, был близок к младосимволистам и принадлежал к тому течению рубежа веков, которое синтезировало черты реалистической и модернистской эстетики и получило наименование “неореализм” [2]. Поэтика неореализма, предполагающая создание многомерного символично-философского подтекста, строится на использовании разнообразных литературных реминисценций, историко-культурных, мифопоэтических образов и мотивов. Эти черты присутствуют в художественном мире Зайцева, в том числе в беллетризованной биографии “Жизнь Тургенева”.

Появление мотива сакрализации женственности в этой книге обусловлено повышенным интересом автора жизнеописания к “жизни сердца” Тургенева. В отличие от многочисленных биографов Тургенева (Н. Богословского, И. Гревса, Н. Гутьяра, С. Петрова), как правило, фокусировавших внимание на общественном значении его творческой деятельности и почти не затрагивавших личную жизнь писателя, Зайцев делает центром художественного исследования мир его чувств, причем конкретные факты биографии получают в повествовании философское осмысление.

По мнению Зайцева, жизнь Тургенева прошла под знаком власти Эроса, он все время жил в “поэтически-эротическом трепете” [3. С. 48]. Ему было присуще восприятие женского начала как священного: “Любовь, поклонение женщине наполнили всю его жизнь, сопровождали до могилы” [3. С. 29]. И в творчестве Тургенева, по мысли биографа, подлинной стихией было “влажное, женственное в литературе” [3. С. 109].

Автор биографии реализует в книге восходящую к Платону концепцию Эроса, противопоставляя плотское и духовное начало в любви, которые в судьбе Тургенева оказались роковым образом разделены: “Афродиту-Пандемос и Афродиту-Уранию он познал почти одновременно – явились они раздельно, и так разделенными остались навсегда” [3. С. 29]. Плотская любовь показана как “помещицье вкушение от древа познания”, ничего не давшее личностному развитию Тургенева. Больше внимание биограф уделяет “платоническим” романам своего героя с Т. Бакуниной, О. Тургеневой, графиней Е. Ламберт, баронессой Ю. Вревской, актрисой М. Савиной. Но судьбоносное значение имела для писателя встреча с Полиной Виардо: в пронесенной через всю жизнь любви к ней сказалось уже не простое преклонение перед женским началом, но роковая подчиненность Тургенева ее женской силе, нашедшая выражение и в сюжетах его произведений.

Полина Виардо предстает в повествовании Зайцева в двух ликах – реалистическом и мифологизированном: расчетливой знаменитой светской дамы – и роковой, “демонической” женщины. Негативные

коннотации образа не исключают его сакрализации. Так, у символистов наряду с культом Вечной Женственности и в противовес ему под влиянием западноевропейского эстетизма возник иной культ – культ Саломеи, носительницы демонического начала. Символисты создали неомиф о женщине преисподней, сочетающей магическую власть, мудрость, духовность и одновременно inferнальность, причастность смерти [1].

В “Жизни Тургенева” мифологизация осуществляется путем включения в повествование литературных реминисценций. Термином “реминисценция” обозначаются «присутствующие в художественных текстах “отсылки” к предшествующим литературным фактам: отдельным произведениям или их группам, напоминания о них», это “образы литературы в литературе” [4. С. 253]. Наиболее распространенная форма реминисценции – цитата, которая может быть точной или неточной, заключенной в кавычки или неявной, используемой автором сознательно или возникающей непроизвольно (как “литературное припоминание”). При этом “цитироваться” может не только фрагмент текста, но и образ или мотив мировой литературы и фольклора.

При создании образа Полины Виардо Зайцев прибегает к реминисценциям из различных источников: античной мифологии, Данте, Сервантеса, Блока. Ее облик двоится, представляя то в светлой ипостаси “Прекрасной Дамы”, Беатриче, Дульсинеи, вдохновляющей преданного поэта на творчество, то в демонической ипостаси пленившей его колдуньи, причем на подобные ассоциации наталкивают документальные материалы, в частности, признания Тургенева, содержащиеся в его переписке.

Встреча Тургенева и Виардо произошла, когда писателю исполнилось 25 лет, и с тех пор он не мыслил своей жизни вдали от этой женщины, покорившей его своим незаурядным талантом. Но жизнь возле Полины слишком напоминала “пленение” [3. С. 80], и вскоре после знакомства чувство Тургенева превратилось в одержимость, а сложившиеся отношения определялись подчиненной ролью писателя: “Полиною был он одержим” [3. С. 69], но “не имел над ней власти” [3. С. 59].

Поклонение незаурядной избраннице могло бы оформиться в культ Прекрасной Дамы в духе куртуазной поэзии средневековья, мистической лирики Блока и Соловьева, но в случае с Тургеневым этого не произошло. Его ранние письма к Виардо напоминают “некий преданный дневник”, направляемый к “прекрасной даме”, в котором доминирует “тон преданности и полного подчинения” [3. С. 58]. В годы разлуки, когда Тургенев уже стал признанным писателем, “Полина представлялась ему петраркической мечтой, смутно вздыхательной, к которой жизненно не так уж он и стремился” [3. С. 98]. Но последовавшая встреча вновь пробудила прежнюю болезненную одержимость: в 1856 году Тургенев с жестоким скепсисом пишет о своем по-

ложении (Зайцев цитирует его письмо к Е. Ламберт): “Как оглянусь я на свою прошедшую жизнь, я, кажется, ничего больше не делал, как гонялся за глупостями. Дон Кихот, по крайней мере, верил в красоту своей Дульцинеи, а нашего времени Дон Кихоты и видят, что их Дульцинея урод, а все бегут за нею” [З. С. 97].

Следует заметить, что образ Дон Кихота в художественном мире Тургенева являлся многозначным символом и воплощал социально-психологическое явление (вспомним его статью “Гамлет и Дон Кихот”). В таком контексте “уродливая Дульцинея” могла обозначать несостоятельную идею или мечту, но Зайцев дает этому фрагменту однозначную трактовку, прилагая соскочившее с уст писателя “тяжелое, грубое” слово к Виардо и тем самым снижая ее образ. Итак, реальная Полина Виардо не выдерживает сопоставлений ни с “прекрасной дамой” трубадуров, ни с Лаурой Петрарки, ни даже с Дульсинеей Сервантеса. Не являлась она и дантовской Беатриче. Невозможность представить любимую в небесном облике Зайцев связывает с отсутствием у Тургенева религиозной веры и с его склонностью к темной, суеверной мистике: “Данте верил, что Беатриче из благодатного источника. Тургенев ощущал прелесть своей Беатриче скорее как магическую” [З. С. 141].

В повествовании Зайцева Полину Виардо сопровождают ассоциации со стихийным, колдовским, инфернальным началом. В ее портрете доминирует традиционный для “демонической” женщины черный цвет и выделены зооморфные черты: “Красотою Виардо не славилась. Выступающие вперед губы, большой рот, но замечательные черные глаза – пламенные и выразительные. Волосы тоже как смоль <...> На сцене она воспламенялась. И сквозь некрасоту лица излучала свое обаяние” [З. С. 54]. Зайцев упоминает известное по документам высказывание матери Тургенева о Полине: “Хорошо поет проклятая цыганка”.

В “Жизни Тургенева” в образе Виардо просматриваются черты Сирены, Цирцеи, Сфинкса. Как известно, сирены в древнегреческой мифологии – демонические существа, рожденные рекой Ахелоем и одной из муз (по разным версиям – Мельпоменой, Терпсихорой или дочерью Стеропа), “полуптицы-полуженщины, унаследовавшие от отца дикую стихийность, а от матери-музы – божественный голос” [5. Т. 2. С. 438]. Сладкоголосые сирены коварно завлекали своим пением мореплавателей на острые скалы. Миф о сиренах нашел отражение в “Одиссее” Гомера: Одиссей проплыл мимо сирен, приказав своим товарищам залить уши воском, а себя привязать к мачте. Первоначально дикие хтонические существа, связанные в представлениях древних греков с миром мертвых, в классической античности превратились в сладкоголосых мудрых сирен, своим пением создающих величавую гармонию космоса.

В облике Виардо также акцентированы стихийность, бурный темперамент – и вокальный талант, значение прекрасного голоса, преобразавшего ее на сцене. Полина Виардо – испанка по происхождению, в ее натуре таились “древняя кровь, древние страсти”, экзотика, перевозчанность: “Гейне ощущал в ней некую стихию, самое Природу: море, лес, пустыню” [З. С. 54]. Зайцев упоминает, в частности, такой факт биографии певицы: дочь знаменитого испанского тенора Мануэля Гарсиа, она училась петь на корабле: “Эти удивительные уроки в океане, под открытым небом, связаны с артистическими странствиями отца” [З. С. 53].

Царственность Виардо, ее желание “взять венценосную позу” напоминают Кирку (Цирцею) – волшебницу греческой мифологии, обитающую на острове Эя среди лесов в роскошном дворце. Дикие животные, населяющие остров, – это люди (в частности, бывшие возлюбленные Кирки), испытавшие на себе ее злые чары. Образ Кирки приобрел широкое распространение в литературе, живописи, музыкально-драматическом искусстве от античности до XX века, в частности, в творчестве Данте, Боккаччо, Лопе де Вега, Кальдерона и др. [5. Т. 1. С. 652]. Зайцев, безусловно, хорошо знал этот миф из “Одиссеи” Гомера, а также из XXVI песни “Ада” Данте, над переводом которого он работал на протяжении многих лет.

Описание первого приезда Полины Виардо в Россию, окруженное экзотическими деталями, поданными Зайцевым не без иронии, напоминает миф о Кирке мотивом превращения людей в животных. Автор пишет: “Россия находилась далеко <...> Направляясь туда, вероятно, считала Виардо, что будет чуть ли не ездить на белых медведях и жить среди царей и рабов” [З. С. 54]. Опираясь на документальные свидетельства, Зайцев описывает, как Полина принимала в Петербурге гостей: “<...> Огромная медвежья шкура в гостиной, распростертый русский зверь, с позолоченными когтями лап. На каждой из них по поклоннику, а королева на диване – это ее маленький двор, ручные преданные звери” [З. С. 56]. Повествуя о жизни Тургенева в Куртавнеле возле семейства Виардо, автор скажет, что “Полина пела – навсегда запевала в свою власть северного медведя” [З. С. 65].

В биографии лейтмотивом проходит мысль о колдовской силе загадочных, магнетических глаз Полины Виардо, которая сравнивается со сфинксом. В мифологии Сфинкс – чудовище, порожденное Тифоном и Эхидной, с лицом и грудью женщины, телом льва и крыльями птицы. Оно было наслано на Фивы в наказание, задавало каждому проходившему загадку, а не сумевшего разгадать убивало. Загадку разгадал Эдип, а сфинкс в отчаянии бросился в пропасть и разбился насмерть. Заметим, что хотя слово *сфинкс* в русском языке – мужского рода, но это мифологическое чудовище имеет женскую сущность. Имя *Сфинкс* восходит к греческому глаголу *сжимать*, *удушать*, а сам

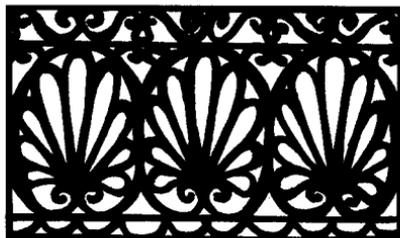
образ – к малоазийскому образу крылатой полудевы-полульвицы [5. Т. 2. С. 479–480]. В русский язык прочно вошло крылатое выражение “загадка сфинкса”. В “Жизни Тургенева” образ сфинкса двоятся: он соотнесен как с Полиной Виардо, так и с Россией, а Тургенев находится во власти двух этих сил. Так, в 1850 году, после нескольких лет жизни за границей, он нехотя отправился на родину по призыву матери: «Он называл тогда Россию “огромным и мрачным обликом, неподвижным и туманным как Сфинкс”. Полагал, что Сфинкс смотрит на него тяжелым взглядом и поглотит его» [3. С. 80]. Тургенев большую часть жизни прожил за границей возле семейства Виардо, но в своем творчестве остался верен родине.

Интерпретация судьбы и творчества Тургенева, данная Зайцевым в художественной биографии, многим казалась и кажется субъективной, а примененный подход – “опозитизированным фрейдизмом” [6]. Но такая категоричная оценка художественной биографии неправомерна. Нельзя забывать о том, что это не научно-исследовательский труд, а документально-художественное произведение, в котором образы реальных людей воссоздавались Зайцевым под воздействием мотивов мировой литературы и философско-эстетических идей Серебряного века.

Литература

1. *Пермякова Л.А.* Сакрализация женственности в прозе русского символизма. Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Уфа, 1996.
2. *Давыдова Т.Т.* Русский неореализм: Идеология, поэтика, творческая эволюция. М., 2006.
3. *Зайцев Б.К.* Собр. соч.: В 11 т. М., 1999. Т. 5. Жизнь Тургенева: Романы-биографии. Литературные очерки.
4. *Хализев В.* Теория литературы. М., 1999. С. 253.
5. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М., 1992.
6. *Андреев Н.* “Жизнь Тургенева” Б. Зайцева [Рец.] // Воля России. 1932. № 1/3. С. 94–96.





“Нужно, чтобы лица высказывали себя речами”

**Речи нигилистов в комедии Л.Н. Толстого
«Зараженное семейство»**

© Г. А. СКЛЕЙНИС,
кандидат филологических наук

Пьеса “Зараженное семейство” была написана Л.Н. Толстым зимой 1863–1864 года на волне острой литературной полемики между сторонниками и противниками миропонимания “новых людей” – прогрессистов, или нигилистов. Непосредственным импульсом к созданию комедии послужила публикация в 1863 году романа Н.Г. Чернышевского “Что делать?”. Современная писателю и позднейшая литературная критика расценила произведение как памфлет. Г.А. Тамарченко (со ссылкой на авторитет В.Ф. Саводника, первого комментатора пьесы Л.Н. Толстого) отметил, что в “Зараженном семействе” пародируется манера речи и самого Н.Г. Чернышевского, и героев романа “Что делать?”; что Толстой при этом не пытается “войти в существо этических идей Чернышевского” – энергия драматурга “опирается здесь не столько на идеи, сколько на чисто эмоциональное и вкусовое неприятие романа Чернышевского, да и самой его личности”. Чтобы проиллюстрировать “чисто вкусовое отталкивание” от текста “Что делать?”, исследователь говорит о восприятии Любочкой слова *миленькая*: толстовской героине неприятно, даже “гадко” слышать из уст Венеровского излюбленное обращение Веры Павловны к Лопухову [1].

Обращаясь к анализу речи героев комедии, покажем, что Толстой не ограничивается гротескным “вкусовым” отталкиванием от романа Чернышевского, а пытается указать на социальное происхождение нигилиста, передать его характер и особенности психологии. Главные носители новой идеологии в комедии – девица Катерина Матвеевна Дудкина, чиновник Венеровский и студент Твердынский. Дудкина – эмансипированная барышня со всеми внешними атрибутами раскре-

пощенности: “стриженная, в очках... с книжкой журнала под мышкой”, с папиросой в зубах [2. Т. XI]; она гордится своим развитием и тем, что первая делает предложение мужчине: “...женщина уже вышла из-под того гнета, в котором душили ее... она равноправна мужчине... Я исследовала глубину моего сознания и решила, что мы должны соединиться... Вопрос же об обладании мною уже решен между нами”. Ее речь, изобилующая словесными штампами из нигилистического арсенала, громоздка и неуклюжа: “...в силу чего могут измениться эти уродливые отношения, как не в силу тех идей и заложений, которые мы внесем в них. Я сознаю свое влияние над этими людьми и посылно употребляю его. И вы призваны облагородить еще свежую личность...”.

В процитированных суждениях героини на прогрессивные темы отсутствуют, при содержательной экспрессивности, вопросительные и восклицательные знаки. Это свидетельствует о механистичности ее речи, о том, что она произносит фразы, затверженные с чужого голоса.

Несмотря на явную, подчеркнутую карикатурность этого образа, в нем верно подмечена такая психологическая особенность бытового поведения нигилистов, как демонстративная защитная развязность. Решительность Дудкиной, цинизм и безапелляционность ее суждений – игра в самодостаточность. О мнимой уверенности героини в себе во время объяснения с Венеровским свидетельствуют такие экстралингвистические факторы, как обилие пауз, на которые указывают многочисленные многоточия, и жестикуляция, характер которой описан в авторских ремарках: “Откидывает волосы и ходит в волнении”; “Останавливается и откидывает волосы”; “Ходит в волнении” и др.

Беспомощность героини, бесплодность попыток вернуть Венеровского, оказавшего предпочтение красивой, молодой и богатой Любочке, делают фигуру нигилистки не столько смешной, сколько трогательной, “очеловечивают” ее.

Черты личности Н.Г. Чернышевского, гротескно заостренные, угадываются сразу в двух героях “Зараженного семейства” – Венеровском и Твердынском. При этом черты Чернышевского в большей мере пародированы в образе Венеровского, несмотря на то, что Твердынский – “молодой человек... из духовного звания”, и это находит соответствие в биографии Чернышевского, Венеровский же – “акцизный чиновник”, и это, напротив, никак не соотносится с биографией “властителя дум” радикальной молодежи.

Твердынский – легкомысленный студент, в суждениях которого пародируются речевые стереотипы, сформированные у героя долгим пребыванием в духовной среде, например: “шествуйте”, “учиняется скандал почтенный”, “девица почтенная и незловредная”, “беседа текла беспременно”, “душеусладительное чтение производите” и мн. др.

Две особенности речи Твердынского – инверсированность стиля и обилие сложных слов – пришли из греческого языка в церковносла-

вянский, обслуживающий прежде всего духовную (религиозную) сферу. Приведем для сравнения сложные прилагательные и существительные из “Душеполезных поучений” Преподобного Аввы Дорофея (VI–VII вв.): “не будьте удоборадражительны”, “гортанобесие”, “чревоугодие” [3]; усложненность синтаксиса часто встречается и в наставлениях Святителя Феофана Затворника: “святозарность внутренняя у таковых нередко прорезывается”, “решимость твердая и неуклонная”, “...возыметь решимость непременно достигнуть возжеланного” [4].

Предшествующий жизненный опыт определяет именно стилистику речи Твердынского, а не ее содержание. Если наставления и поучения Феофана Затворника и Аввы Дорофея связаны с духовным опытом, с преодолением страстей, то студент-нигилист высокопарную речевую манеру часто приноравливает к бытовым понятиям: “...человекоубийственность нравов зрителей почтовых станций”; “...нельзя ли получить инструмент, в просторечии самоваром называемый” и пр.

Твердынский – человек непосредственный, беззлобный и открытый, и это отчасти примиряет с ним читателя. Венеровский циничен, самовлюблен, прагматичен, себе на уме. Именно в этом образе угадываются гротескно искаженные факты биографии Чернышевского и пародируются черты его героев. Толстой, дороживший идеей брака, видевший в женщине прежде всего хранительницу семейного очага и скептически относившийся к “разгулу” эмансипации, создал памфлетный образ человека, глумящегося над семейными святынями. “...Любить женщину за то, что она произвела вас на свет, не имеет никакого смысла”, – говорит Венеровский Любочке о ее матери. Он с первых же шагов семейной жизни ведет себя как домашний тиран, хотя и прикрывается трескучими фразами о взаимной свободе супругов. Запретив Любочке брать с собой в поездку горничную, он заявляет: “Да, милая, жизнь ваша устроится так, что вы скажете себе скоро: да, я вышла из тюрьмы на свет Божий” (одна из многочисленных аллюзий на роман “Что делать?”).

Для характеристики Венеровского особенно показателен пространный монолог, открывающий II действие и представляющий собой типичную для драматургического произведения вербализацию внутренней речи героя. В монологе практически отсутствуют нигилистические штампы, “общие места”, которыми он охотно щеголяет в разговорах с окружающими и которые аттестуют его как “нового человека”: “В ней есть задатки, но она неразвита”; “Простое и честное отношение к жизни удобнее и целесообразнее”; “высшая степень развития”; “нравственное чувство правды” и др.

Монолог же, которым начинается II действие, показывает, что Венеровский влюблен прежде всего в себя. На протяжении всего явления он, как Нарцисс, любит себя своей наружностью: сначала портретом, потом – отражением в зеркале. Он, как Хлестаков, упивается са-

мовосхвалением и постепенно начинает верить собственному вранью. Особую силу убедительности этому автовнушению призваны, по-видимому, сообщить риторические вопросы, выполняющие роль своеобразного заклинания: "...Кого же я знаю умнее себя? Кто так тонко, легко и глубоко понимает вещи?"; "Есть ли наука, в которой я бы не чувствовал в себе силы сделать открытия..." и др.

Создавая "Зараженное семейство", писатель не стремился исследовать феномен нигилизма. Его целью было не изучение, а обличение. Но даже в жанровых рамках памфлетной комедии Толстой, большой художник, глубокий знаток человеческой природы, не просто выставил нигилистов в сатирическом свете, но сумел показать индивидуальные и социальные особенности их психологии. При этом он в первую очередь реализовал возможности речевой характеристики героев, продемонстрировав, что в драматургии "нужно, чтобы лица высказывали себя речами" [2. Т. XXI. С. 263].

Литература

1. *Тамарченко Г.Е.* Чернышевский – романист. Л., 1976. С. 333–334.
2. *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 22 т. М., 1982.
3. *Преп. Авва Дорофей.* Душеполезные поучения. М., 2004. С. 52, 132.
4. *Святитель Феофан Затворник.* Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Минск, 2006. С. 99, 104–105.

Магадан

“Мир растительный” в “Москве” А. Белого

© А.Я. ШУЛОВА,
кандидат филологических наук

Андрей Белый всю жизнь трепетно и любовно относился к цветам, травам, деревьям, внимательно вглядываясь и вслушиваясь в их жизнь, часто скрытую от поверхностного взгляда. Он делал прекрасные гербарии из засушенных осенних листьев, один из таких гербариев на семи листах с красиво разложенными в закругленном плавном ритме багровыми листочками осины хранится в Отделе рукописей РНБ [1].

Любовь писателя к миру растений нашла свое отражение в “Москве” – цикле из трех романов, события в которых завершаются зимой 1916 года. Это романы “Московский чудак” (1926), “Москва под ударом” (1927) и “Маски” (1932).

В первом из них – “Московском чудеке” находим небольшие, даже миниатюрные пейзажи или изысканные флористические образы. Зимний узор на окне напоминает поэту белый одуванчик: “уж день, одуванчик, который пушится в ночи, обдулся и сморщился: мерзленьким шариком, который подкидывать будут; и – нет” [2].

“Однажды с собою она принесла синеглазый цветочек: Ивану Ивановичу; <...> он добрышом посмотрел:

– Ах, девчужка!

Он был цветолобец: и – нос тыкал в цветики”.

Мотив синеглазого цветка в образной системе А. Белого особый. Синий для него – цвет Вечности, истины, Христа, говорившего: “Будьте, как дети, иначе не войдете в Царство Божье”.

В “Московском чудеке” во флористических композициях воплощен мотив красоты, совершенства природы, радости узнавания ее: “за окнами май: из фиалок, лазоревых цветиков, листьев и роз”. На флористических образах основаны гротескные сравнения, несущие авторскую оценку персонажей: “Карлик был с вялым, морщавым лицом, точно жеваный лимон”; “ты на лицо посмотри: баклажан”; “животик казался бы дутым арбузиком, если б не узкий корсет”.

Стремясь к максимальной изобразительности, ассоциативности, зрительной конкретности, писатель заимствует краски из мира растений. Особенно часто встречается брусничный цвет (его оттенки “темно-брусничный”, “нежно-брусничный”, “ярко-брусничный”). Такого цвета “подкрас” губ Василисы Сергеевны, что становится ее цветовой приметой: “губы были брусничного цвета”; “от нежно-брусничного

рта пахнет дурно”; “морозец, оживши, носы ущипнул; и носы стали ярко-брусничного цвета”.

Еще один интенсивный, яркий цвет – окраска ягод клюквы. Озябший нос ассоциируется с “клюковкой”: “и клюквили, и лиловели носами <...> клюковкой пыхи пускал, пока клюковка вовсе не стала бялянкой”.

Запахи, которые вдыхают персонажи “Московского чудака”, растительного происхождения – от лаванды и миндаля до “промозглой капусты”, “репы”, “луковых духов”. Они ассоциируются с неблагообразием жизни социума, зла, царящего в нем: от демонического Мандро “будто даже несло миндалем горьковатым”; “промозглой капустой, рассолами, репой несло”; “фукнет кухарка отчетливым луковым паром”.

Характеризуя жизнь своего персонажа, А. Белый обращается к образу гербария: “здесь, со стеною, скрипел лет уже тридцать, расплющиваясь на ней, точно липовый листик меж папкой гербариев; стал он растительным, вялым склеротиком”.

В “Москве под ударом” Белый продолжает использовать принцип “мозаики”, составленной из растений, “вкрапленных” в одежду (“дамочка в кофточке цвета герани”), в урбанистический пейзаж (“видно, где-то росли одуванчики: в воздухе пухи летали”), портрет (“стал абрикосово-розовый”), интерьер (“из красных гвоздик он привстал и раскланялся”).

Профессор с дочерью гуляют в лесу, девушка радуется ботаническими познаниями: “Львиный зев”; “Вот кашка”; “Трава валерьянова”. Дальше сама Наденька узнает: «Этот лопух называют еще “чумный корень”»; “всякая ягода есть: голубика, крушина, дурман, волчья ягода... все это – ягоды”.

Как и в “Московском чудеке”, А. Белый раскрашивает лица, одежду, дома в цвета из “мира растительного”: “японец, задохлец лимонно-оливковый”; “оливковый этот задохлец, ставший пред ним, – разворотчик вопросов огромнейшей, математической важности”; “Вишняков зажтел, как имбирь”; “только кой-где молодевший подцветом: морковным, кисельным, зеленым”.

Мир растений в этом романе богаче и разнообразнее, чем в “Московском чудеке”. Действие из грязного города переносится на московскую окраину – лесистую и болотистую местность, поле, берег водоема, садик, цветник на даче. Здесь все красиво, “цветоуханно” и гармонирует с внутренним миром героев, нравственно воскрешая, преображая их.

Прогулка дочери Коробкина со знаменитым японским математиком Исси-Нисси дана на фоне характерных для японского искусства образов: “Колебались причудливым вычертнем тени от сучьев; и первая желто-зеленая бабочка перемелькнулась к другою – под солн-

цем<...>, пошли перемельками; быстрым винтом опустились, листом свои крылья сложили. И листьями стали среди листьев". А. Белый создает словесный эквивалент японской гравюре с ее изяществом, прозрачностью, простотой.

О наблюдательности А. Белого, его любви к миру растительному говорят и другие пейзажи романа. Коробкина терзает предчувствие смерти, он видит, как растения гибнут у него на глазах: "Жара жахла страхом: деревья стояли, покрытые дымкою; воздух стал – дымкой: сплошная двусмысленность; липовый лист замусолился; червоточивый лист падал в лесной сухоман; мир зелел, шепелея, томлением смертным".

В "Масках", отмечала К.Н. Бугаева, человеческое и природное почти неразличимы. Персонажи отождествляются с цветущими растениями, названия которых повторяются, превращаясь в лейтмотив, раскрывающий психологические состояния, эмоции, чувства героев, их душевное богатство и красоту. Цветочные лейтмотивы реализуются в образах цветущего миндаля, розы, лилии, подснежника. Одна из главок имеет название "Снег, как цвет миндалей". Выздоровливающему Коробкину, объётому радостным волнением, душевно воскрешшему, зимний пейзаж видится цвета цветущего миндаля: "Как шапки миндальных лесов, возникала за дальними купами купа лесная". Лилия – древний поэтический символ чистоты, целомудрия: "...Что-то такое она вышивала: узорчик лилейчатый строчился".

Флористическую символику имеют персонажи, обладающие духовным богатством, добротой, любовью. Лицо Серафимы – "роза", "чайная роза". Роза – древний поэтический символ любви, красоты, юности: "Как чайная роза раскрылось лицо".

Глаз Задопятова, еще недавно бывший безобразным, "оком" сияет, как подснежник – символ весны, обновления, любви, детства (завершение мотива синих цветов – глаз, начатого в "Московском чуде"): "И око какое, огромное, выпуклое, стало синим, как синий подснежник цветок".

Другой излюбленный флористический образ – спелые плоды (фрукты), – символ полноты жизни, щедрости, здоровья. Нежно окрашенные плоды персика постоянно привлекают А. Белого. Серафима – "ростом малютка, овальное личико – беленькое, с проступающим румянцем – цвета персиков!"; "в смехе овальные губы ее выкругляют-ся сладкими долями яблока: весело, молодо, бодро".

А. Белый не пишет *оранжевый, лимонно-желтый*, а сразу: *лимон, апельсин, срез ананаса*.

– дом, –

– лимон, –

апельсиновый".

Яркая цветовая гамма осенних листьев врачует душевные раны, дарует душевный покой, вносит в “Маски” мотив радости, красоты, света. Фельдшерица Серафима приносит больному юноше Пантукану осенний букет и учит “разглядывать колеры”: “– Ясени – красные; вишня – сквозной перелив...” С палитрой осеннего сада в “Маски” входит мотив искусства, вечного, как и природа. Живописную манеру художников Возрождения напоминают А. Белому “земляничные листики; легкие листики эти даны нам в сквозном рафаэлевском свете”.

Запущенный московский дворик рождает грустные мысли: “Напротив заборчик, глухой, осклабяясь ржавыми зубьями; сурики, листья сметает; подумашь – сад.

Здесь когда-то стояла и кадка-дождейка; и куст подрезной был; лактук, лакфиоль разводили; цвела центифолия; ныне же тополь рябую листвою шумит да склоняется липа прощепом – сучьистое, мшистое и заструпелое дерево”.

А. Белый любовно создает пейзажи Москвы – “большой деревни”, с нажимом подчеркивая, что их прелесть, идилличность – в прошлой, мирной, устроенной жизни – с ее патриархальностью, уходом за растениями и домашними животными: “Недавно еще доцветали подсолнухи желтые там с георгиною синею; кладка березовых и белорозовых, еще не сложенных дров, где молочного цвета коза забодалась с щенятами...”.

Флористический образ соседствует с анималистическим: в природе растения и животные сосуществуют в единстве.

Есть в “Москве” флористические образы-символы, переходящие из романа в роман. “Двадцатипятилетняя связь [Василисы Сергеевны и Задопятова] очень странно пресеклась: ботаникой” – на разговоре о растении “из семейства бобовых” – акации, гороховике, а семейная жизнь Коробкина тоже “откатилась горошком”.

В романах А. Белого отразилась эпоха стиля модерн, культивировавшего растительные мотивы в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. А личная увлеченность писателя ботаникой, его глубокие познания в ней, наряду с поразительной изобретательностью в словотворчестве, позволяют говорить об особой роли флористических образов в его прозе.

Литература

1. Белый А. Гербарий (на 7 листах). ОР РНБ. Ф. 60. Ед. Хр. 102.
2. Белый А. Москва. М., 1989.

Вологда

“Жизнь, как подстреленная птица...”

К образу птицы в русской поэзии

© М. В. КУТЬЕВА

Птица – древний архетип, встречающийся в большинстве мифологиче-ского мира. Как и ангел, она символизирует мысль, воображение, неосознаваемость духовных связей, принадлежит воздушной стихии, обозначает высоту вообще и высоту духа.

В русской поэзии одним из излюбленных образов является аллегория птица-душа. Емко и лаконично сказал об этом Николай Клюев:

Может быть, не греша,
На лазурном пути
Станет птицей душа.

В стихотворении Андрея Белого “Крылатая душа”, в сущности, прослеживается этот же мотив:

Твоих очей голубизна
Мне в душу ветерком пахнула:
Тобой душа озарена...
Вот вешним щебетом она
В голубизну перепорхнула.

Душа-птица появляется и во “Вдохновенье” Владимира Набокова:

Когда-то чудо видел я;
Передаю созвучьям ныне
То чудо, но душа моя –
Как птица белая на льдине.

О *белой птице*, которая, очевидно, символизирует ее поэтическую душу, повествует Анна Ахматова в стихотворении из сборника с символическим “птичьим” названием “Белая стая”:

Был он ревнивым, тревожным и нежным,
Как Божие солнце, меня любил,

А чтобы она не запела о прежнем,
 Он белую птицу мою убил.
 Промолвил, войдя на закате в светлицу:
 “Люби меня, смейся, пиши стихи!”
 И я закопала веселую птицу
 За круглым колодцем у старой ольхи.
 Ему обещала, что плакать не буду,
 Но каменным сделалось сердце мое,
 И кажется мне, что всегда и повсюду
 Услышу я сладостный голос ее.

Любопытно, что уже через два года после женитьбы на Анне Ахматовой Николай Гумилев обращается к подобному образу – веселой птицы – в стихотворении “Из логова змиева...”. Он сожалеет о том, что жена не схожа с такой птицей:

Из логова змиева,
 Из города Киева
 Я взял не жену, а колдунью.
 А думал – забавницу,
 Гадал – своенравницу,
 Веселую птицу-певунью...

В одном из самых известных стихотворений Николая Рубцова поэт сравнивает себя с птицей. А крылья – это его способность мечтать, предчувствовать тайну, стремиться к высокому, ощущать себя ведомым высшими силами:

О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
 В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
 Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
 Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!

В связи с этим приведем всего лишь одну, но афористичную строку из ахматовского стихотворения “Тень”, посвященного Осипу Мандельштаму: “Как спорили тогда – ты ангел или птица!”.

С птицей сравнивают поэты и память, как это делает Владимир Набоков:

Я эти сны люблю и ненавижу.
 Ты знаешь ли их странную игру?
 На миг один, как стая птиц роскошных,
 в действительность ворвется вдруг былое
 и вокруг тебя, сверкая, закружится
 и улетит, всю душу взволновав.

В круге этих же образов возвращаются мысли Николая Рубцова: “Память возвращается, как птица, в то гнездо, в котором родилась...” (“Ось”).

Метафора *память-птица* прочно укоренилась в отечественной поэзии. Ярким доказательством тому может служить “Память” Давида Самойлова:

Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит...

Удивительную, сильнейшую по эмоциональному воздействию на читателя, сложную птичью метафору разворачивает Борис Пастернак в стихотворении “Импровизация”:

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.

И было темно. И это был пруд
И волны. – И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые, черные, крепкие клювы. <...>

И ночь полоскалась в гортанях запруд,
Казалось, покамест птенец не накормлен,
И самки скорей умертвят, чем умрут
Рулады в крикливом, искривленном горле.

Б. Пастернак передает свои ощущения не с помощью абстрактных понятий, а погружает нас в ночную картину, наполненную и реальными, и вымышленными образами. Вот птицы и – пруд. Играя на фортепиано, рука музыканта проходит по черным и белым клавишам, как будто рассыпая зерна черным и белым птицам. И в ответ на этот жест руки слышатся клекот и рулады. Это музыка. Впечатление от черно-белой ночной музыки, вобравшей в себя голос птиц и плеск воды, внушает мистический, первобытный страх. Поэт обращается одновременно и к зрительному, и к слуховому восприятию. Переворот происходит во всей поэзии в тот момент, когда рождаются строки о музыке: “Я клавишей стаю кормил с руки Под хлопанье крыльев, плеск и клекот”. Огромную роль в этом перевороте играет многогранный образ птицы. Строфа словно становится из плоской – объемной.

Необыкновенная смысловая глубина содержится в пастернаковском двустишии: “Прощай, размах крыла расправленный, Полета

вольное упорство”. Один из аспектов сравнения с парением птицы – безусловно, состояние вдохновения, “чудотворства”.

Издревле считалось, что птицы имеют контакт с божественными сферами. У Осипа Мандельштама образ птицы связан не только с состоянием поэтического творчества, но и со страхом утратить способность к нему:

Скудный луч холодной мерою
 Сеет свет в сыром лесу.
 Я печаль, как птицу серую,
 В сердце медленно несую.
 Что мне делать с птицей раненой?
 Твердь умолкла, умерла.
 С колокольни отуманенной
 Кто-то снял колокола.

В этих строфах, хотя и в неявном виде, возникает образ *слова-птицы*: слово сравнивается с “серой” и “раненой птицей”. Эта же тема появляется и в “Ласточке” О. Мандельштама:

Я слово позабыл, что я хотел сказать.
 Слепая ласточка в чертог теней вернется,
 На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
 В беспамятстве ночная песнь поется.

Поэт предполагает в слове, как и в птице, произвольность и неожиданность, способность к появлению ниоткуда и исчезновению в никуда.

В “Осени” Набокова птицы в небе подобны строкам на листе бумаги:

И свод голубеет широкий,
 И стаи кочующих птиц –
 Что робкие детские строки
 В пустыне старинных страниц.

В системе художественных образов Арсения Тарковского у птиц особая роль. Об этом говорит метафора “крылья разума”. Птичье щелбанье подобно молитве:

Птицы молятся, верные вере,
 Тихо светят речистые речки,
 Домовитые малые звери
 По-над норами встали, как свечи.
 Но и сквозь оболщания мира,
 Из-за литер его Алфавита,

Брезжит небо синее сапфира,
Крыльям разума настежь открыто.

В своем обращении “К стихам” поэт называет их своими птенцами и уподобляет звукам, вырвавшимся из клювов птиц:

Стихи мои, птенцы, наследники <...>
Скупой, охряной, неприкаянной
Я долго был землей, а вы
Упали мне на грудь нечаянно
Из клювов птиц, из глаз травы.

С птицей устойчиво ассоциируется человеческая жизнь вообще. Сравнивает свою жизнь с раненой птицей Федор Тютчев:

Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет – и не может...
Нет ни полета, ни размаху –
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...

Иосиф Бродский также использует слово *птица* в своих произведениях в значении *жизнь*. Фраза “птица уже не влетает в форточку”, вопреки традиционному смыслу народной приметы – “к покойнику”, в стихотворении И. Бродского “1972 год” означает совсем иное:

Птица уже не влетает в форточку.
Девушка, как зверь, защищает кофточку.
Поскользнувшись о вишневую косточку,
я не падаю: сила трения
возрастает с паденьем скорости.
Сердце скачет, как белка, в хворосте
ребер. И горло поет о возрасте.
Это – уже старение.

Диапазон семантики слова *птица* весьма широк – от сохранения архетипических значений и символов до их модификации и создания новых смыслов, как, например, у Анны Ахматовой. В 1941 году, находясь в блокадном Ленинграде, о вражеских самолетах она напишет:

Птицы смерти в зените стоят.
Кто идет выручать Ленинград?

Голову, лежащую на плахе, сравнивает с птицей Борис Чичибабин:

...А ночь на Русь упала чадом,
и птицу-голову – на жердь вы,
хоть на плечах у палача там
она такая ж, как у жертвы.

В песне Юрия Гарина “Ветхий романс” находим птицу раскаяния:

На Голгофе вселенских скитаний
Потемнеет надежды стекло.
Бьется птица пустых покаяний,
Горделиво ломая крыло.

Образ птицы неисчерпаем. Он традиционно предстает аллегорией души, человека, поэтического вдохновения, да и самой жизни.

“Драматизированный” диалог у В.М. Шукшина

© Г. В. КУКУЕВА,
кандидат филологических наук

Прямая речь персонажей всегда была особенно важна и интересна В.М. Шукшину: “В конце концов, мы ведь так и составляем понятие о человеке – послушав его. Тут он не соврет – не сумеет, даже если захочет”, – замечал он [1].

Диалог движет повествование в рассказах Шукшина, предопределяет характеры героев. Установка на зримое изображение отличает неповторимую шукшинскую манеру письма, основывающуюся “на соединении прозы, театра и кинематографического видения” [2. С. 92], и выдвигает на первое место *драматизированный диалог*, который, органично соединяя элементы сценичности и театральности, выполняет характерологическую функцию: высвечивает образы героев и их речевое поведение в общении (“Артист Федор Грай”, “Вянет, пропадает”, “В профиль и анфас”, “Даешь сердце!”, “Змеиный яд”, “Космос, нервная система и шмат сала”, “Крыша над головой”, “Микроскоп”, “Миль пардон, мадам!”, “Своjak Сергей Сергеич”, “Срезал”, “Танцующий Шива”, “Чудик” и др.). Достаточно показателен в этом отношении диалогический фрагмент из рассказа “Миль пардон, мадам!”:

“Домой Бронька приходит мрачноватый, готовый выслушивать оскорбления и сам оскорблять. Жена его, некрасивая толстогубая баба, сразу набрасывается:

– Чего как пес побитый плетешься? Опять!..

– Пошла ты!.. – вяло огрызается Бронька. – Дай пожрать.

– Тебе не пожрать надо, не пожрать, а всю голову проломить безменом! – орет жена. – Ведь от людей уж прохода нет!..

– Значит, сиди дома, не шлейся.

– Нет, я пойду счас!.. Я счас пойду в сельсовет, пусть они тебя, дурака, опять вызовут! Ведь тебя, дурака беспалого, засудят когда-нибудь! За искажение истории!..

– Не имеют права: это не печатная работа. Понятно? Дай пожрать.

– Смеются, в глаза смеются, а ему... все божья роса. Харя ты неумытая, скот лесной!.. Совесь-то у тебя есть? Или ее всю уж отшибли? Тыфу! – в твои глазыньки бесстыжие! Пупок!”

По сравнению с обилием оскорбительных обращений к мужу (*пес побитый, дурак беспалый, харя, скот лесной, пупок*) речь Броньки, оформленная краткими фразами пренебрежительного характера

(“пошла ты”, “дай пожрать”), соответствует проигрываемой им роли “лесного скота”, равнодушного и безразличного к конфликту.

Ситуация, лежащая в основе речевой структуры рассказов Шукшина, драматическая “сшибка” характеров, установка на самораскрытие персонажей позволяют говорить об особой роли *ситуативного диалога* и *диалога непонимания*.

Ситуативный диалог представляет собой составную часть разворачивающейся в рассказе ситуации, как, например, в “Микроскопе”:

“Андрей с сожалением оторвался от трубки, уступил место сыну. И жадно и ревниво уставился ему в затылок. Нетерпеливо спросил:

– Ну?

Сын молчал.

– Ну?!

– Вот они! – заорал парнишка. – Беленькие...

Отец оттащил сына от микроскопа, дал место матери.

– Гляди! Воду одна пьет...

Мать долго смотрела... Одним глазком, другим...

– Да никого я тут не вижу”.

Реплики героев рассказа носят ситуативный характер: *вот они, беленькие, никого не вижу* (кто они, о ком идет речь?), *воду одна пьет* (кто пьет?). Данный тип диалога выполняет сюжетообразующую функцию. Сигналы эллиптичности, глаголы и стоящие при них конкретизаторы, маркирующие в авторских ремарках поведение персонажей (*с сожалением оторвался от трубки, жадно и ревниво уставился, нетерпеливо спросил, заорал, оттащил*) зримо воссоздают все детали ситуации.

Диалоги непонимания в рассказах Шукшина сигнализируют о парадоксальности ситуации (“Артист Федор Грай”, “Боря”, “Змеиный яд”, “Игнаха приехал”, “Сапожки”, “Срезал”, “Штрихи к портрету” др.). Данный тип диалога оказывается одной из тех речевых форм, которые служат раскрытию внутренних переживаний героя. Как правило, персонаж, провоцирующий подобный диалог, примеряет на себя определенную маску, сопровождает свою речь атрибутами игровой эксцентрики, таковы “вечный плут – Елистратыч” (“Крыша над головой”), “мастер спора – Глеб Капустин” (“Срезал”), “шизя – ветфельдшер Козулин” (“Даешь сердце!”), “Иван-дурак, прощающийся с печкой” (“В профиль и анфас”). Содержательное “рассогласование” реплик в диалоге непонимания обостряет “сшибку” характеров. Рассмотрим фрагмент рассказа “Штрихи к портрету”:

“– Нет, нет, вы ответьте: в чем всеобщий смысл жизни? – Князев подождал ответа, но нетерпение уже целиком овладело им. – Во всеобщей государственности. Процветает государство – процветаем и мы. Так? Так или не так?

Сильченко пожал плечами... Но согласился – пока, в ожидании, куда затем стрельнет мысль Князева <...>.

– Не понимаю, чего вы хотите сказать, – сердито заговорил Сильченко <...>.

Князев некоторое время смотрел на Сильченко проникновенно и строго.

– Вы что нарочно, что ли, не понимаете?”

Как видно из приведенного примера, сознание персонажей “лежит в разных плоскостях”: Сильченко наслаждается отпуском, рыбалкой, для Князева важнее “активный отдых и целесообразное мероприятие”.

Функциональная нагрузка диалога непонимания предопределяется парадоксальностью коммуникативной ситуации, в которую вступают два типа личности: конфликтный и импульсивный. Конфликтный тип – ведущий – доминирует в разговоре, нарушая его логику, импульсивный тип – “раб ситуации” – характеризуется быстрой сменой точки зрения, что ведет к обострению столкновения персонажей.

В сферу влияния диалога входят все композиционно-речевые формы, организующие речевые партии повествователя и персонажей. Результатом диалогизации, то есть “приема, состоящего в сознательном придании говорящим монологической речи свойств диалогической речи” [3], является интеграция голосов автора, героя и второстепенных персонажей.

Сложному преобразованию подвергается внутренняя речь героя, представляющая собой стержень речевой структуры большинства рассказов (“Алеша Бесконвойный”, “Беспальный”, “Осенью”, “Письмо”, “Сураз”, “Страдания молодого Ваганова”, “Чередниченко и цирк” и др.). Введение во внутренний монолог элементов диалога как знаков реальной или гипотетической речи повышает драматичность конфликта героя с окружающими и с самим собой, как это происходит, например, в рассказе “Сураз”: «“Счас толканет” – опять подумал. И вдруг ясно увидел, как лежит он, с развороченной грудью, раскинув руки, глядя пустыми глазами в ясное утреннее небо... Взойдет солнце, и над ним, холодным, зажужжат синие мухи, толстые, жадные. Потом соберутся всей деревней смотреть. Кто-нибудь скажет: “Надо прикрыть, что ли”. Как? Тыфу! Спирька содрогнулся. Сел. “Погоди, милоч, погоди. Стой, фраер, не суетись! Я тебя спрашиваю: в чем дело? Господи! – отметелили. Тебя что, никогда не били? В чем же дело?! – В чем дело? – спросил вслух Спирька. – А?”».

Сложность монолога конструктивно подтверждается тем, что сознание героя воспроизводит предполагаемые диалоговые реплики “необозначенных” персонажей: «Кто-нибудь скажет: “Надо прикрыть, что ли”». Постепенное вычленение внутренней речи, оформленное посредством графических и лексических маркеров, и ее трансформация в диалог героя с самим собой обостряют драматичность не

только внешнего конфликта, но и внутреннего, возникающего в сознании Спирьки: “Я тебя спрашиваю: в чем дело?”

Проникновение диалога в авторское повествование проявляется в глубоком взаимодействии речевых линий повествователя и персонажей. Монолог повествователя разрушается за счет цитатных включений “чужого” слова, реализуемого разными композиционно-речевыми формами. Обратимся к рассказу “Алеша Бесконвойный”: «Два дня он не работал в колхозе: субботу и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завел себе такой порядок, все знали, что этот преподобный Алеша “сроду такой” – в субботу и в воскресенье не работает. Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но все без толку. Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек, из них только старший добрался до десятого класса, остальной чеснок сидел где-то еще во втором <...>... Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай – как об стенку горох. Хлопает глазами... “Ну, понял, Алеша?” – спросят. “Чего?” Что же он делал в субботу? В субботу он топил баню. Все. Больше ничего».

Начало авторского монолога соответствует объективной манере повествования. Однако постепенно речь автора диалогизируется благодаря взаимодействию с субъектно-речевыми сферами героя, “необозначенных” персонажей. Повествование о главном герое перерастает в рассказ, излагаемый от лица этих персонажей. Стилизованная сказовая речь поглощает авторскую, возникает синтез речевых планов. Бессознательные и парцелированные конструкции (“Жалели вообще-то: у него пятеро ребятишек”; “В субботу он топил баню. Все. Больше ничего”); субъективно-экспрессивная лексика (“выпрягался”, “преподобный Алеша”); фразеология (“махнули на него рукой”, “как об стенку горох”, “хлопает глазами”) демонстрируют выразительность разговорной речи.

Полифункциональность диалогических единств в рассказах Шукшина трансформирует его малую прозу – эпическую по своей природе, в прозу с элементами сценичности, театральности, сценарной техники письма.

Литература

1. Шукшин В.М. Проблема языка // Шукшин В.М. Я пришел дать вам волю: Роман. Публицистика. Барнаул, 1991. С. 370.
2. Козлова С.М. Поэтика рассказов В.М. Шукшина. Барнаул, 1992. С. 92.
3. Артюшков И.В. Внутренняя речь и ее изображение в художественной литературе (на материале романов Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого). М., 2003. С. 316.

Публицистический текст в новой системе стилистических координат

© Н. И. КЛУШИНА,
кандидат филологических наук

Как правило, публицистика обслуживает область политико-идеологических отношений общества. Первоначально основной функцией данного стиля признавалась лишь воздействующая функция языка. Но сегодня мы наблюдаем и возросшую роль информации. В современном публицистическом стиле реализуются две равноправные функции языка: информативная и воздействующая. Поэтому в функциональной стилистике утверждается концепция *дихотомии публицистического и информационного подстилей* публицистического стиля. А сам стиль получает более корректную формулировку – *стиль массовой коммуникации*.

Эти подстили обладают развитой *системой жанров*, в основу которой также положена функция языка: информационные жанры (информативная функция), аналитические (аналитическая), публицистические (воздействующая).

Сегодня устоявшаяся система жанров советской журналистики трансформируется. Исследователи говорят о смещении жанров, явлении гибридации, разрушении жанровых границ, транспонировании жанровых форм, эссеизации различных жанров, появлении новых жанров в СМИ (Г.Я. Солганик, Л.Г. Кайда, Е.С. Кара-Мурза, Е.И. Беглова и др.). Но тем не менее активное перераспределение жанровых форм происходит все же в границах данного стиля.

Традиционная функциональная стилистика оформилась в эпоху утверждения *системного подхода* в лингвистике. Именно поэтому во всех учебных пособиях по стилистике она описывается по законам системности: особенности каждого функционального стиля рассматриваются в соответствии с ярусами языковой системы (на лексическом, морфологическом, синтаксическом, а для разговорного стиля – и фонетическом уровне). Сама же стилистика позиционируется как межуровневая дисциплина, изучающая стилевые и стилистические особенности целых законченных произведений (текстов).

В современной лингвистике утверждается новый, *коммуникативный*, подход к изучению текста как речевой единицы. В связи с этим многие ученые пытаются разграничить понятия *стиль* и *дискурс*

(В.И. Коньков, Е.С. Кара-Мурза, Е.И. Беглова и др.). Так, Е.И. Беглова выделяет как наиболее актуальные функциональный и прагматический аспекты в изучении текстов массовой коммуникации [1]. В.И. Коньков справедливо считает, что стилистику сегодня необходимо преподавать как стилистику речи: “Преподавание стилистики, если судить по большинству учебных пособий по стилистике, исходит из концепции стиля как функциональной разновидности литературного языка. Соответственно, описание стиля производится по уровневому принципу. Обучение стилистике на факультетах журналистики требует несколько иного подхода, поскольку здесь необходимо прежде всего не столько знакомство с языковой структурой, сколько обучение активным речевым навыкам. Исходной позицией при таком подходе становится анализ особенностей речевого поведения субъекта речи, автора текста” [2]. Е.С. Кара-Мурза высказывает интересную мысль о том, что функциональный стиль – это языковая суперпарадигма, а дискурс – речевая. Поэтому “в состав функционального стиля как языковой суперпарадигмы ... входят языковые средства и категории через функционально-семантические поля разной конфигурации, в то время как жанры входят в состав дискурса как суперпарадигмы речевой” [3].

На наш взгляд, и стиль, и дискурс – это *употребление* языка, поэтому они однопорядковые лингвистические величины, заявляющие различные подходы к изучению функционирования языка: системный и коммуникативный. Таким образом, стиль и дискурс стали точками отсчета в разных системах стилистических координат. Стиль – основное понятие *функциональной стилистики*, дискурс – *коммуникативной стилистики*.

Функциональная стилистика изучает систему стилей в зависимости от реализуемой в них функции языка, а также тексты, употребляемые в определенном пространстве стиля. Коммуникативная стилистика изучает дискурс как целенаправленную коммуникацию от адресанта к адресату, а также тексты, включенные в коммуникативную ситуацию.

Как видим, в основе и стиля, и дискурса лежит текст, но рассматривается он с различных позиций. Таким образом, публицистический текст может изучаться в двух системах стилистических координат – функциональной и коммуникативной стилистики.

Не случайно текст в коммуникативной стилистике рассматривается как остановка в коммуникации, а в функциональной стилистике – как высший уровень системной иерархии.

Таким образом, с позиций функциональной стилистики особую значимость приобретает выявление и описание общестилевых закономерностей и их реализация в конкретных текстах, а также стилистические особенности текстов различных стилей.

Например, если рассматривать публицистический стиль в диахронии, то можно выделить определенные *константы* и *переменные*

данного стиля. Константы – стилеобразующие черты, характерные для публицистического стиля в любую эпоху, то, что отличает его от других стилевых разновидностей употребления литературного языка. К ним относятся *чередование экспрессии и стандарта* (В.Г. Костомаров), *социальная оценочность* (Г.Я. Солганик), *особый тип авторства* (Г.Я. Солганик), *авторская позиция* (Л.Г. Кайда), *идеологема* (Н.И. Клушина), шкала ценностей.

Переменные – черты публицистического стиля, ставшие ведущими в определенную конкретную эпоху жизни социума. К переменным современному публицистическому стилю можно отнести *иронию, интертекстуальность, диалогичность, разговорность, языковую игру*. Переменные определяются экстралингвистическими факторами, и каждая новая эпоха выдвигает новые признаки.

Если рассматривать публицистический текст с позиций коммуникативной стилистики, то здесь его особенности будут определяться через основной структурный блок *адресант/адресат*.

Адресант → *интенция* → *текст* → *адресат* → *декодирование* → *воздействие* – такова основа дискурсивного анализа.

Следуя этой схеме, можно увидеть, что порождение текста диктуется авторской интенцией (коммуникативным намерением). Таким образом, именно интенциональные черты текста становятся текстообразующими категориями.

Основная интенция автора-публициста – убедить читателя не просто в правомерности, но в правильности выдвинутой автором идеи (идеологема). Поэтому основными текстообразующими (интенциональными) категориями любого публицистического произведения как воздействующего типа текста являются *идеологема, номинация, оценочность, интерпретация, тональность*. То есть определенная заданная идея (идеологема) реализуется в публицистическом тексте с помощью авторской оценочности, интерпретации действительности, стратегии именованной и выбранной адресантом стилистической манеры изложения (речевой агрессии, речевого одобрения или подчеркнутой объективности) [4].

Все перечисленные категории обеспечивают реализацию глобальной авторской *стратегии убеждения* в публицистическом тексте и шире – в публицистическом дискурсе как совокупности публицистических текстов, погруженных в коммуникативную ситуацию (для публицистического дискурса – в *идеологическую коммуникативную ситуацию*). И, следовательно, дискурсивными (надтекстовыми) характеристиками публицистики можно считать *идеологему, оценочность, идеологическую интерпретацию* события.

Дискурс можно рассматривать как совокупность текстов, объединенных единой коммуникативной стратегией (публицистический дискурс, научный, рекламный) или темой (медицинский дискурс, спор-

тивный, экономический). Так, к воздействию типу дискурса (реализующему глобальное коммуникативное намерение – убеждение) следует отнести публицистический, политический, религиозно-поведнический, рекламный (“увещательную” коммуникацию) дискурс, т.е. то, что в функциональной стилистике признается подстилями массово-коммуникативного стиля.

В коммуникативной стилистике, на наш взгляд, более правомерно деление текстов не на *жанры* (как в функциональной стилистике), а на *типы* текстов. Жанр образно называют “горизонтом ожидания читателя” (Ст. Гайда), т.е. авторский текст “подгоняется” под определенные рамки сложившегося жанра. В коммуникативной стилистике на первый план выдвигается “я” говорящего, и свой замысел автор реализует не в тесных границах жанра, а в коммуникативном пространстве речи, ломая все сдерживающие жанровые перегородки. Именно поэтому, на наш взгляд, наиболее корректна сегодня жанровая концепция Л.Г. Кайды об эссеизации современной публицистики, отражающая возросшую роль личности адресанта в современной публицистической коммуникации. Именно интенция (замысел) управляет процессом порождения сообщения, организуя его внешнюю форму. Поэтому можно говорить не о жанрах (их современные исследователи насчитывают до 400!), а о типах текстов, объединенных определенной интенцией (например, публицистические типы текстов, реализующие интенцию убеждения, информационные – интенция проинформировать и др.).

Такова, на наш взгляд, складывающаяся сегодня в коммуникативной стилистике новая система стилистических координат, точкой отсчета которой является публицистический текст.

Литература

1. *Беглова Е.И.* Семантико-прагматический потенциал некодифицированного слова в публицистике постсоветской эпохи. Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. М., 2007. С. 14.
2. *Коньков В.И.* Особенности преподавания стилистики как стилистики речи // Профессия – журналист: вызовы XXI века. М-лы межд. научной конф. “Журналистика 2006”. М., 2007. С. 285–286.
3. *Кара-Мурза Е.С.* Проблемы преподавания функциональной стилистики рекламы // Труды кафедры стилистики русского языка. М., 2007. С. 24.
4. *Клушина Н.И.* Публицистический текст в прагматическом аспекте // Язык массовой и межличностной коммуникации. М., 2007.



Наплыв американизмов и речевая культура

© ЗАМИР ТАРЛАНОВ,
доктор филологических наук

Один из наиболее волнующих все общество вопросов нынешней русской речевой культуры – это наплыв американизмов. Они проникают всюду: в язык телевидения, в массовую печать, в речь чиновников, документалистику, в рекламу, в названия магазинов, в игры для детей, в названия видов трудовой деятельности, включая обслуживание скотоводческих ферм, в названия спортивного инвентаря, в описания интимных чувств – словом, во все области жизни. Создается впечатление, будто собственная культурная жизнь России стояла на нуле или начинается с нуля и поэтому все приходится заимствовать у других.

Вводятся замены даже для освоенных чужих слов. Лишь бы на американский лад. В языке уже есть, например, заимствования *консультация, тенденция, тренировка*, тем не менее вводятся дублирующие новые *консалтинг, тренд, тренинг*. Возникает вопрос: насколько это вызвано потребностями развития нашего общества, культуры, русской речи. Дело не в собственно иностранных словах. Трудно представить себе язык, в котором не было бы заимствований. В этом плане языки – как люди, которые берут в долг то, чего у них недостает сейчас, или перенимают опыт друг у друга. Поскольку в каждом языке закрепляется неповторимый жизненный опыт народа, его обычаи, история, особенности восприятия мира, то языки при всем их содержательном сходстве отличаются друг от друга. Сами же заимствова-

ния, их характер, объем определяются многими условиями. Важными являются, в частности, соседство с другими народами, длительность и глубина культурных контактов между ними. Как известно, в том же английском языке около 70% слов – с романскими корнями, так что в нем заимствования преобладают над самобытными словами. Так сложилась судьба английского языка в соответствии с английской историей.

Типы и характер заимствований в русском языке определяются, с одной стороны, историей православной культуры, а с другой – евразийским географическим положением России. Если не принимать во внимание древнейшего греческого следа, то в русском языке выделяются чужие слова соответственно восточного и западного происхождения. Каждый ли отдает себе отчет в чужой (восточной) природе таких слов в русском языке, как *алый, амбар, армяк, аршин, атлас, башмак, башлык, кисей, зипун, войлок, кошма, сарафан, тулуп, кумач, чулок, камка, каракуль, сарай, балаган, чулан, очаг, сундук, чубук, кибитка, тюфяк, караул, колчан, аркан, аргамак, сайгак, табун, лошадь, караковый, чалый, буланый, бирюк, барсук, карандаш, сурьма, кизяк, арбуз, алтын, барыш, базар, казна, деньги, балда, болван, каюк, кавардак, кутерьма, якшаться?* Между тем, они давно, лет четырехста, являются частью словаря русского языка. Немало таких заимствований и из западных языков. И те и другие обогащают русский язык. Изначально являясь восточными и западными, они неотделимы от русского языка, русской жизни. Следовательно, заимствования сами по себе – это результат естественных связей между народами и культурами, один из путей к обогащению языков, испытанная временем линия сближения народов.

Это добро, однако, оборачивается злом, когда использование чужих слов превращается в увлечение, в моду в ущерб собственному языку и культуре. Такое в истории России случалось не раз. Выход всегда находился, но – при активном вмешательстве влиятельных деятелей национальной культуры – писателей, ученых, образованной части интеллигенции.

Современное наше общество разобщено. Признаваемые в национальном масштабе деятели культуры просматриваются с трудом. К тому же стало нормой противопоставлять сегодняшние ценности отрицательно оцениваемой собственной истории. Это и есть благодатная почва для бесконтрольного вторжения в русский язык американизмов, которые отнюдь не являются безучастными, безразличными по отношению к традиционной русской картине мира.

Возьмем два примера. В русском языке существует давно пришедший из латыни термин *толерантность* в значении “терпение, терпимость к чужим мнениям и верованиям”. Но в 80–90-е годы это слово вошло в русский язык вторично, уже с американским “акцентом”. А

для Америки с ее расовой нетерпимостью, расовой сегрегацией, официально продолжавшейся до конца 60-х годов XX века, воспитание толерантности, расовой терпимости было первоочередной задачей. В многонациональной России расизма не было никогда. Поэтому в русском языке место слова *толерантность* занимали слова, уходящие в историю русской культуры, – *доброжелательность*, *благожелательность*, *благосклонность*, *сочувствие*. Но не *терпимость*, ибо она предполагает готовность к примирению там, где мира не было. Тем не менее слово, утвердившееся в условиях узаконенной расовой нетерпимости, переносится на русскую почву, а прекрасные свои слова с их гуманистическим ореолом предаются забвению, тем самым уравниваются два разных типа отношений. Благодаря этой как бы безобидной подмене грехи одной культурной традиции перекладываются на другую. Это путь к ревизии не только словаря, но и в целом представляемого им самобытного мировидения.

Другой пример – слово *шоу*, которое лезет изо всех щелей. Каких только *шоу* у нас нет? *Музыкальное шоу*, *ток-шоу*, *спортивное шоу*, *шоугруппа*, *шоубизнес*, *шоупрограмма*... Это не что иное, как поощрение неряшливых, скудных образцов речи.

Петрозаводск



О значениях союзов *или* и *либо*

© В. Н. ЗАВЬЯЛОВ,
кандидат филологических наук

Основная трудность при описании значений разделительных союзов *или* и *либо*, так же, как и союзов *не то...не то...* и *то ли...то ли...* [1] связана с тем, что они являются настолько синонимичными, что в подавляющем большинстве контекстов могут взаимозаменяться, а то и употребляться в общем сочинительном ряду: “В лагере всегда так: *или* жить не дают, *либо* ничего не видят и не знают” (Домбровский. Факультет ненужных вещей); “Если сейчас объявится законный наследник дона Мигеля де Перальты, США придется *либо* пожертвовать в его пользу часть своей территории *или* же откупиться” (Глебов. Аризона в наследство // Веч. Москва. 2002.18 июля).

На начальном этапе системного изучения этих союзов (в 50–60 гг. XX в.) было принято считать, что принципиальных различий между их значениями нет. В “Грамматике русского языка” отмечалось: “Сложносочиненные предложения с союзом *либо* (одиночным или повторяющимся) по своим структурным особенностям и по общему значению полностью совпадают со сложносочиненными предложениями с союзом *или*”. Само же значение было сформулировано как “перечисление взаимоисключающих явлений, действий, обычно расположенных в одном временном плане” [2]. В зависимости от контекста перечисление это может отражать как реальное положение дел (1), так и предполагаемое (2): 1) “Тут же сидят их кавалеры, принимающие со стороны участие в их игре *или* с нетерпением ожидающие, когда дама проиграется, чтобы увести ее из клуба” (Гиляровский. Москва и москвичи); “Воспоминание *либо* тает, *либо* приобретает мертвый лоск, так что взамен дивных привидений нам остается веер цветных открыток” (Набоков. Дар); 2) “Верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Тереком *или* за Кубанью: туда и дорога!..” (Лермонтов. Герой нашего времени); “– Видимо, отклонение земной оси произошло мгновенно. Земля столкнулась с огромным небесным телом, *либо* у нас был второй спутник, меньший, чем луна” (А. Толстой. Аэлита).

Вместе с тем значительное внимание исследователи уделили стилистической дифференциации данных союзов. Но и в этом вопросе

долгое время не было ясности. Если союз *или* со всей очевидностью характеризовался как межстилевой, то в отношении *либо* существовали различные точки зрения. Одни полагали, что *либо* отличается от *или* разговорным характером, другие квалифицировали его как книжный, третьи считали, что и он является стилистически нейтральным. Такая разница во мнениях была обусловлена, очевидно, тем обстоятельством, что союз *либо*, несмотря на то что фиксировался еще в старорусских письменных памятниках, в литературном языке начал активно употребляться сравнительно недавно. Даже в произведениях конца XIX – начала XX века он встречается лишь эпизодически.

С другой стороны, этот союз был широко распространенным в некоторых говорах, в частности, южных, что нашло свое отражение, например, в романе М.А. Шолохова “Тихий Дон”: “Прохор пошел к коню, но Григорий, спохватившись, вернул его. – Зайди к нашим и скажи матери *либо* Наталье, чтобы они загодя переправили на эту сторону одежду и другое что ценное”; “...Ты из лица пожелтел, Гришка... Ты *либо* хворый, *либо*... кокнут нынче тебя”. Поэтому создавалось впечатление о разговорности *либо*, причем граничащей с просторечием [3]. По аналогичным причинам у других исследователей могло сложиться мнение о его книжном характере: диалектное употребление выносилось ими за рамки литературной нормы, а в ее пределах письменное (преимущественно в официально-деловом и научном стилях речи) казалось доминирующим над устным [4].

Однако Н.Н. Холодов обратил внимание на то обстоятельство, что выводы исследователей о стилистических особенностях союза *либо* не раскрываются на большом языковом материале. В итоге он пришел к заключению, что предложения с союзом *либо*, так же как и предложения с *или*, должны свободно употребляться в разговорном языке, но при этом отличаются от последних особенностями значения. Эти особенности, по мнению Н.Н. Холодова, сводятся к следующему: предложения с союзом *либо* 1) располагают меньшим кругом частных значений, чем предложения с *или* (ср.: Лес поредел, *или*, вернее, он казался таким зимою. Но: Лес поредел, *либо*, вернее, он казался таким зимою; Это бегемот, *или* гиппопотам. Но: Это бегемот, *либо* гиппопотам); 2) предрасположены к выражению значения определенности, тогда как предложения с *или* в этом плане нейтральны (ср.: *Или* есть проблема, *или* нет проблемы // *Либо* есть проблема, *либо* нет проблемы); 3) являются своего рода противительными сравнительно с предложениями, использующими *или*; последние в этом смысле можно назвать сопоставительными (акцентирующими разное, но не противоположное) (ср.: Я *или* ты // Я *либо* ты) [5].

Правда, выводы Н.Н. Холодова в части, касающейся разговорной специфики *либо*, также не были подкреплены достаточным фактическим материалом, ибо, как известно, звучащую речь очень непросто

фиксировать [6], однако они находят определенное подтверждение в активном использовании данного союза в диалогических репликах персонажей современной художественной литературы, свидетельствуя тем самым о его стилистической нейтральности: “Мне нужно золото, а не соль! – резко оборвал Стратиг. – Что принадлежит России, должно принадлежать только ей. *Либо* – никому” (С. Алексеев. Сокровища Валькирии); “Ситизен, – сказал Воловиков. – За полтора лимона. Ну, это *либо* Крокодил расщедрился, *либо* Житенев” (А. Бушков. Бешеная).

Нынешний этап в изучении значений союзов *или* и *либо* связан с исследованиями, направленными на создание специального словаря синонимов русского языка, главной задачей которого является установление сути различий между членами того или иного синонимического ряда. В словарной статье, посвященной союзу *или*, Е.В. Урысон пишет: “В отличие от *или*, союз *либо* во всех употреблении подчеркивает *знание* говорящего или субъекта ситуации. Поэтому *либо* известно только в контексте предикатов знания. Ср.: Я знаю <мне известно>, где он сейчас – в Париже *либо* в Вене при недопустимости * Я не знаю <мне неизвестно, непонятно>, где он сейчас – в Париже *либо* в Вене” [7]. Далее Е.В. Урысон, опираясь на отмечаемую многими исследователями возможность широкого понимания альтернативы в предложениях-высказываниях с *или*, разграничивает значения союзов следующим образом: “По вечерам она шила *или* смотрела телевизор [какой бы вечер (или часть вечера) ни взять, имеет место одна из следующих альтернатив: она в этот вечер шила, она смотрела телевизор, причем не исключено, что она делала одновременно и то, и другое] VS. По вечерам она шила *либо* смотрела телевизор [две альтернативы: но не та и другая одновременно]” [8].

Но широкое понимание альтернативы в высказываниях с союзом *или* имеет место, на первый взгляд, отнюдь не всегда (например: Завтра в 10 часов утра я буду в Москве *или* Санкт-Петербурге; Длина забора тридцать *или* сорок метров; Он придет *или* не придет и под.), как, впрочем, и полное исключение его в высказываниях с *либо* (ср.: Он *либо* изменник, *либо* трус). Разгадка этого явления, как считает В.З. Санников, заключается в том, “что в наивной языковой картине мира, которая отражена в языке, совмещение компонентов X и Y вообще не учтено: оно не разрешено и не запрещено, говорящий вообще о нем не думает” [9].

С другой стороны, если вообразить, что быть в одно и то же время и в Москве, и в Санкт-Петербурге может какое-нибудь фантастическое существо, то объединение вариантов в этом высказывании по-прежнему является допустимым, т.е. речь в подобных случаях должна идти не о значении союза *или* как такового, а о совместимости/несовместимости связуемых им фактов [10].

Вместе с тем здесь обнаруживается и семантический компромисс, так или иначе уравнивающий имеющиеся возможности. Этот компромисс находит свое выражение в лексических формулах с семантикой предположения (*примерно, вероятно, может быть* и др.) или безразличия (*все равно, одинаково, один черт* и др.), в то время как при *либо* он вряд ли возможен в силу уже отмеченного его коммуникативно-прагматического свойства употребляться преимущественно в контексте предикатов знания (ср.: * Буду в Москве *либо*, может быть, в Санкт-Петербурге; * Длина забора примерно тридцать *либо* сорок метров; * Он придет *либо* не придет – безразлично; * Он, наверное, *либо* изменник, *либо* трус). По этой же причине при союзе *либо* неупотребительны и уточняющие лексемы типа *вернее, точнее* или предпочтительности: *лучше, скорее* и под. [11].

Существенную роль в разграничении значений союзов играет их внутренняя форма [12]. У *или* она достаточно прозрачна: *и + ли*. Именно сохранившимся влиянием соединительного элемента можно объяснить возможность совмещения вариантов в высказываниях с *или*, а также его употребление в пояснительном значении, когда понятия мыслятся как “тождественные по содержанию, но различающиеся по способу представления обозначения одного и того же денотата” [13]: “Бычки, *или* Бычковы, веселая семейка, жили в глебовской квартире, как паны (Трифонов. Дом на набережной). В свою очередь, от элемента *ли* в значении союза *или* наличествует вопросительно-предположительный оттенок, эксплицирующийся при определенных коммуникативно-прагматических условиях.

В отношении этимологии *либо* у исследователей нет единого мнения. Однако преобладание в его значении семантики строгой альтернативности ориентирует на точку зрения А.Н. Стеценко, полагающего, что он образовался из древнерусского союза *любо*, восходящего к соответствующему краткому прилагательному среднего рода, в результате изменения корневого гласного (возможно, под влиянием союза *ли*): “А в княже борти 3 гривне, *любо* пожгут, *любо* изуродуть” (Русская Правда). При этом *любо* часто употреблялся в сочетании с союзом *а*: “Хочу главу свою положить, *а любо* испити шеломомъ Дону” (Слово о полку Игореве) [14].

Подобное употребление, но уже с союзом *либо*, хотя и редко, но встречается в современном русском языке, что, в частности, подтверждает предположение Н.Н. Холодова о противительном компоненте в его значении: “Ты ничего. Ты бери. Ты парень, я вижу, добрый. Из дома тебе пришлют, может, подаяние будет, *а либо* заработаешь, украдешь что. Я поверю. Ты парень честный... Да ты водочки не хочешь ли?” (Дорошевич. Сахалин).

Таким образом, внутренняя форма союза *либо*, основанная на предпочтении чего-либо одного из сочиненного множества, не спо-

собствует свободному пониманию альтернативы говорящим в высказываниях с данным союзом, свидетельством чему, отчасти, является тот факт, что *либо* начал проникать в литературный язык прежде всего через научный и официально-деловой стили речи: именно в них это функционально-семантическое свойство проявляется наиболее отчетливо: “Обывательское сознание всегда думает, что вещи *либо* существуют, *либо* не существуют. На самом же деле вещи настолько непрерывно текут, что иной раз становится трудным даже просто замечать их раздельное существование (А. Лосев. История античной философии в кратком изложении).

Итак, значения союзов *или* и *либо*, основу которых, как и у большинства незначительных слов, составляет субъективно-модальная оценка действительности говорящим, могут быть сформулированы следующим образом. Союз *или* указывает на то, что имеют место (или возможны) как одна из альтернатив, о которых сообщается в сочиненных им словоформах, так и все остальные, что может осуществляться посредством их совмещения, относительного схождения или абсолютного тождества. В свою очередь, союз *либо* указывает на то, что имеет место (или возможно) только одно из названных понятий, а какое бы то ни было объединение их, даже при наличии коммуникативно-прагматических условий для этого, является нежелательным.

Идеальной иллюстрацией этому служит следующее употребление: “Как мне не хватает Юрия Станиславовича! Лотковые лавины, – говорил он, стоя у этого окна, – это орудия, направленные на долину. *Либо* ты их, *либо* они тебя. В лавинном деле он был великаном, с его уходом образовался вакуум, который нечем заполнить. Его ученики – *или* теоретики, *или* практики, Оболенский же был и тем, и другим” (Санин. Белое проклятие).

Разумеется, будучи союзами с широким семантическим спектром, *или* и *либо* могут приобретать в определенных контекстах функционально-семантические свойства разделительных союзов *ли...ли.., то ли...то ли.., не то...не то.., то...то*. Однако это уже другой вопрос: вопрос контекстуальной модификации их значений.

Литература и примечания

1. Петрухин В.Н. “То ли” или “Не то”? // Русская речь. 1973. № 1. С. 91–93; Завьялов В.Н. Не то дождик, не то снег... То ли будет, то ли нет // Русская речь. 2007. № 2. С. 66–70.
2. Грамматика русского языка. М., 1960. Т. II. Ч. 2. С. 246, 249.
3. Точка зрения о просторечном характере союза *либо* восходит еще к Н.И. Гречу: “*Либо* сходствует с *или* в значении исключения поня-

- тий, но употребляется более в просторечии” (*Греч Н.И.* Практическая русская грамматика. СПб., 1827. С. 392).
4. Следует отметить и недостаточное внимание ученых к союзу *либо*. Обычно он рассматривался, да и в целом продолжает рассматриваться лишь на фоне своего визави, которому, наоборот, посвящено множество отдельных работ, в том числе специальное монографическое исследование. См.: *Ананьева О.А.* Полипредикативные разделительные предложения с союзом “ИЛИ”: строение и семантика: Дисс. ... канд. филол. наук. Самара, 2005.
 5. *Холодов Н.Н.* Сложносочиненные предложения в современном русском языке. Смоленск, 1975. Ч. II. С. 67–70.
 6. В “Русской разговорной речи” читаем: “Разделительный союз *либо–либо* встречается в разговорной речи очень редко” (*Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н.* Русская разговорная речь. М., 1981. С. 249.). Однако из этого утверждения вовсе не следует, что он ей чужд.
 7. *Урысон Е.В.* Словарная статья союза “ИЛИ (...ИЛИ)” // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Второй выпуск / Отв. ред. Ю.Д. Апресян. М., 2000. С. 150.
 8. Там же. С. 151.
 9. *Санников В.Э.* Русские сочинительные конструкции: Семантика. Прагматика. Синтаксис. М., 1989. С. 104.
 10. *Гладкий А.В.* Синтаксические структуры естественного языка в автоматизированных системах общения. М., 1985. С. 199.
 11. Ср. также: *Или пан, или пропал* // *Либо пан, либо пропал*. Обе конструкции функционируют в речи почти в равной мере. Однако если в первом случае представлен, скорее всего, вероятностный ход событий, то во втором, по сути, predeterminedный.
 12. Говоря иначе, “скрытая память языка”. См.: Вербальная и невербальная опоры пространства межфразовых связей / Отв. ред. Т.М. Николаева. М., 2004. С. 7–11.
 13. *Ананьева О.А.* Указ. раб. С. 168.
 14. *Стеценко А.Н.* Исторический синтаксис русского языка. М., 1977. С. 191–192.

Хабаровск

Как произносить предлоги: *в* или *во*, *с* или *со*?

© С. В. ЗОТОВА

Известно, что многие русские предлоги, такие, как *в*, *с*, *из*, *от*, *о(об)*, *к*, *над*, *под*, *без*, *пред*, *перед*, *через*, могут употребляться в двух вариантах – с исходом на согласный или с добавлением *-о*: *в* или *во*, *с* или *со* и т.д.

В последнее время в Интернете на форумах официальных сайтов (Gramota. ru и др.) не раз поднимался вопрос о произношении таких предлогов и их вокализованных вариантов *во*, *со*, *изо*, *ото*, *обо*, *ко*, *надо*, *подо*, *безо*, *предо*, *передо*, *черезо*. Например, участники одного из форумов активно обсуждали, какой вариант предлога выбрать в сочетании со словом *мнение* – *ко мнению* или *к мнению*? Одни считали, что говорят только *к мнению*. Кто-то утверждал, что нужно выбрать вокализованный вариант *с о*, потому что в словоформе *ко мнению* предлог находится перед сочетанием таких же согласных, как и в словоформе *ко мне*, а в последнем случае, конечно, вариант без *о* невозможен. Некоторые полагали, что в данном случае можно использовать оба варианта предлога. К единому мнению спорящие так и не пришли.

Похожим вопросом задались посетители гостевой книги официального сайта Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН: *от всех* или *ото всех*? – и получили следующий ответ, который дали сотрудники Института: «Употребление варианта предлога *ото* (так же, как и *безо*, *во*, *ко*, *надо*, *подо* и др.) обуславливается позицией перед словом, начинающимся со “стечения согласных” (это такой термин). Считается, что в русском языке удобнее произносить *надо мной*, *ото всех*, *безо всякого*, *чем над мной*, *от всех*, *без всякого* и *под*. Но это не абсолютное правило».

Лингвисты неоднократно обращались к проблеме произношения вокализованных вариантов предлогов, и результаты исследований можно свести к следующему.

Все исследователи (Грамматика-80, Н.А. Еськова, И.А. Мельчук, В.В. Морковкин, М.И. Откупщикова, Д.Э. Розенталь, Н.А. Янко-Триницкая и мн. др.) выделяют два основных условия, при которых обычно появляется гласный *о* в предлоге:

1. перед односложными словами (преимущественно с беглым гласным), которые начинаются с групп согласных: *во сне, ко дню, обо что, ото сна* (но: *от пня*), *изо рта* (но: *из сна*), *надо льдом, во сне* и др. (т.е. фонетический фактор);

2. перед формами косвенных падежей местоимений *я, весь, всякий, всяческий*, а также со словами *многое, многие*, например: *во всех, со мной, ко мне, изо всех сил* (но: *из всех вариантов*), *ото всех, обо всем* (но: *о всяких*), *надо мной, подо всеми* (но: *под всякими*), *безо всяких* (но: *без всяких*), *предо мной, во многих, ко многому, со многими* и др. (т.е. лексический фактор).

Кроме этого называют и другие условия, влияющие на появление вариантов отдельных предлогов. Так, вариант предлога *со* встречается перед сочетанием согласных, первый из которых *с* или *з* (*со стены, со злом, со словарем*), а также *ж* и *ш*, а иногда и *щ* (*со жгутом, со шкафа; со щенком*) [1], [2], [3], [4], [5].

Вариант предлога *во* встречается перед словами с начальными сочетаниями *в, ф + согласный*: *во введении, во власть, во вред, во внешности, во флаконе* и др. [1], [2], [3], [4], [5], а также перед некоторыми словами книжной или народнопоэтической стилистической принадлежности: *во имя, во избежание, во благо, во поле* и т.п., и во фразеологизмах (*ложь во спасение*) [4], [5].

По мнению Н.А. Еськовой, варианты *во, ко, со* чаще встречаются в предложной конструкции с обстоятельственным значением, в то время как в объектном значении сохраняется вариант без гласной (*отойти ко сну, клонит ко сну*; ср: *привыкнуть к сну на свежем воздухе*) [1].

Обратим внимание на то, что большинство авторов говорят о *вариативном* произношении предлогов, что, конечно, не устраивает многих носителей языка – им необходимо “строгое” правило, действующее безусловно. Но возможно ли в данном случае сформулировать такое правило? Чтобы выяснить это, пришлось подробно исследовать все факторы, которые могли бы влиять на появление вариантов предлогов с дополнительным гласным и о которых упоминали ученые: фонетические, морфологические, лексические, синтаксические, стилистические. С этой целью была не только проанализирована научная литература, аудиозаписи дикторов радио и телевидения, но и изучены тексты классической и современной литературы, периодической печати и проведены серии орфоэпических экспериментов, в которых участвовали 20 москвичей разного пола и возраста.

Участникам эксперимента предложили прочитать однотипные предложения, в которых различные географические названия нужно было употребить в той или иной падежной форме и выбрать тот или иной вариант предлога, например: *Мы приближаемся (к какому городу?) к(о) Львову*. Географические названия менялись и состояли из разного количества слогов, начинались с сочетаний различных групп

согласных. Кроме того большинство названий были неизвестны участникам эксперимента (например, *Згеж, Мглин*), и это позволило отвлечь их внимание от истинной цели исследования и выявить отдельные факторы, в том числе и лексические, которые могли бы повлиять на употребление вариантов предлогов. Также предлагалось прочитать несколько предложений с фразеологизмами и сочетания предлогов с местоимениями.

Результаты исследования подтвердили, что на произношение предлогов могут влиять различные факторы. Рассмотрим их отдельно.

Фонетические факторы

Несомненно, что одним из основных факторов, влияющих на появление предлогов на *-о*, является удобство произношения. Действительно, трудно произнести сразу несколько согласных, особенно в начале словоформы: *к мне, с спортом, в встрече*. В то же время мы достаточно свободно произносим *к младенцу, с спортивным обозревателем, в стремя* и пр. Значит, выбор варианта произношения предлога зависит не только от стечения согласных в начале знаменательного слова – скорее всего, здесь действуют разные фонетические факторы. Результаты исследования показали следующее.

Фактор 1. Варианты предлога с *о* появляются, если предлог находится перед словом, которое начинается с сочетания двух и более согласных определенного качества. К таким сочетаниям относятся:

для всех предлогов: а) сочетания сонорный *р, л, м, н, ж* + шумный и сонорный + сонорный, например: *во Мге, подо Ржевом, ко мне, со мраком*; б) сочетания трех и более согласных разного качества, например: *ко Пскову, подо Влтавой, во встрече*; в) сочетания *в,ф* + согласный, например: *со вкусом, ко вторнику, ко Фряново, во флоте, во время, со флигелем, ко въезду*; это условие распространяется преимущественно на предлоги *в(о), к(о), с(о)*;

для предлога *с*: сочетание *со, з, ш, ж* + согласный, а также звук [ш'], например: *со Сретенском, со злом, со шрамом, со Щецином*;

для предлога *ко*: сочетание *г* + шумный: *ко Гдову, ко Гданьску*.

Фактор 2. Если между предлогом и ударным гласным в знаменательном слове расстояние в 1–2 слога, то количество вариантов с *о* резко уменьшается. Например, *во ржи* произнесли 95% опрошенных, а *во ржаной муке* – лишь 5%; *со Знаменском* – 50%, а *со Златоустом* – 5%. Этот вывод подтверждается и материалами записей телевизионной речи: “Несколько лет назад мы заключили договор [*с-с*]троительной компанией” (РТР, апрель 2006), а также литературным материалом: “крыльцо с ступенью шаткою” (М. Лермонтов); “И пусть пространство Лобачевского / Летит с знамен ночного Невского” (В. Хлебников), “В флибустьерском дальнем море” (П. Коган) – во всех примерах предлог находится на некотором расстоянии от ударно-

го слога. Именно поэтому в сочетании *со спортом* мы чаще произнесем предлог *со*, так как он находится перед ударным слогом, а в сочетании *с(со) спортивным обозревателем* можем *о* опустить, особенно если произнесем фразу быстро.

Фактор 3. Если знаменательное слово, с которым употребляется предлог, односложное, то вокализованные предлоги встречаются значительно чаще. Например, *ко льду* произнесли 85% опрошенных, а *ко льдине* – 15%; *со львом* – 90% и *со львенком* – 50%. Таким образом, чем короче слово, тем вероятнее появление в предлоге *о*. Сравните, у Пушкина: “И сходят витязи теперь//*Во мрак* подвала величавый” и “Надежда *в мрачном* подземелье//Разбудит бодрость и веселье”. Теперь, если вспомнить дискуссию в Интернете, можно утверждать, что в сочетаниях *ко мне* и *ко мнению* предлог находится в разных фонетических условиях, и во втором случае возможны варианты предлога.

Фактор 4. Если предлог акцентирован, то есть выделяется во фразе при помощи особого ударения и интонации, с целью придать предлогу особое значение (например, контрастивное), то он чаще “вокализируется” (конечно, если предлог находится перед стечением определенных согласных). Например, в предложении *Вы живете в(во) Владимире или под Владимиром?* вариант *во* произнесли все участники эксперимента, а в предложении *Я живу в(во) Владимире*, где предлог не был акцентирован, *во* произнесли только 80%.

При этом качество ударного гласного в знаменательном слове не оказывает существенного влияния на появление гласного в предлоге: *со Ржевом* (45%) и *со Львовом* (40%); *во Франции* (80%) и *во Фрунзе* (75%). Рассматривая варианты *со Львовом* и *во Фрунзе*, можно было бы предположить, что предлог с гласным *о* “подстраивается” под гласные *о* и *у* следующего слога, близкие по способу образования, и поэтому чаще употребляется. Но материалы эксперимента этого не подтверждают.

Исследование фонетических факторов подтвердило основные выводы ученых: вокализованные предлоги чаще всего произносятся перед односложными словами, которые начинаются со стечения определенных согласных: *во тьме, ко злу, со львом, ото сна, подо льдом*. Эксперимент помог уточнить, какие группы согласных заставляют произносить предлоги с *о*, но, к сожалению, не смог объяснить некоторые факты. Например, осталось непонятным, почему предлоги *во, со, ко* произносятся перед словами *двор, дворец (во дворе, во дворце, со двора, ко дворцу)* – ведь перед другими словами с таким же набором согласных в начале слова произносятся только *в, к, с: в двери, с двойкой, к творцу* и пр. Возможно, в этом случае речь идет о традиции произношения. И еще: эксперимент показал, что фонетические факторы не могут быть основанием для формулировки “твердого” правила произношения предлогов – слишком субъективна и вариативна эта область языка, ср.: *во тьме* и “*В тьме столетий* затеряв-

шиися” (В. Брюсов); *ко* *злу* и “Без повода *к* *злу* у людей выдыхается злоба” (Я. Полонский).

Лексические факторы

Фактор 1. Отвечая на вопрос “*от* *всех*” или “*ото* *всех*”, сотрудники Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН рекомендовали второй вариант, но категоричного ответа не дали. Почему? Результаты исследований показали следующие:

1) Гласный *о* в предлоге появляется всегда: а) перед местоимением *что* в винительном падеже: *во что, обо что*; б) перед формами личного местоимения *мне, мной*: *во мне, ко мне, передо мной, со мной*;

2) Гласный *о* появляется часто в предлоге:
а) перед формами слов *многое, многие*.

Интересно, что предлог *во* в сочетании *в(во) многих странах* употребили все участники эксперимента (т.е. 100%), а в сочетании *с(со) многими людьми* предлог *со* произнесли лишь 30% опрошенных. Этот факт подтверждается анализируемым материалом: в сочетании с формами слов *многое, многие* употребляется только вокализированный вариант предлога *во*, остальные предлоги вариативны. Например: *со многими* и “*Цифра с многими нулями*” (заголовок в газете “Труд”); *перед многими* и “*Дети чрезвычайно уязвимы передо многими экологическими угрозами*” (сайт Радио России. 2006 1. 06); б) перед формами местоимений *весь, всякий, всяческий*.

Так, 90% участников эксперимента произнесли *во* в сочетании *в(во) всяких ситуациях*. Можно было бы проигнорировать оставшиеся 10%, но примеры и современной речи, и речи предыдущего столетия подтверждают данный факт: “Энергетика – универсальный ключ *к* *всем* событиям российско-украинской политической жизни” (агентство Интерфакс); “Дети крайне нуждаются *в* *всяческой* помощи” (НТВ. 2006. Август); “В изломах льдов, в неистовстве зари-*К* *всему* я чувствую твою причастность” (И. Волгин); “Будьте уверены, что я возвращу Вам ее (рукопись) *в* *всей* исправности...” (из письма А.С. Пушкина); “Но пуще всего проповедовали ненависть *к* *всякому* насилию, *к* *всякому* правительственному перевороту” (А.И. Герцен); “Король Магнус дает путь чистый в московские области всем московским купцам *с* *всяким* товаром” (С.М. Соловьев). Интересно, что варианты произношения предлогов в такой позиции отражены еще в источниках XVII века: в Словаре русского языка XI–XVII вв. представлены варианты *съ* *все* *стороны* (1609, Моск. лет. 228) и *со* *все* *стороны* (1651 АИ 2.287) [СРЯ. С. 7–8].

Фактор 2. Какие географические названия произносятся чаще: *Франция* или *Фряново*, *Львов* или *Льялов*? В первом случае названия хорошо известны, то есть лексически освоены, а во втором случае – употребляются крайне редко, и если могут быть освоены, то очень

ограниченным кругом лиц. Эксперимент показал достаточно противоречивые результаты. С одной стороны, *со Францией* не произнес ни один из опрошенных, а *со Фряновом* – 15%; *ко Франции* произнесли 5% опрошенных, а *ко Фрянову* – уже 25%, и эти факты подтвердили предположение. Но, с другой стороны, *во мглу* произнесли 80% участников эксперимента, а *во Мглин* не произнес никто; *во Франции* и *во Фрянове* – 80% и 65% соответственно, *со Ставрополем* и *со Сретенском* – 75% и 50% – и в этом случае предлог вел себя вопреки ожидаемому. Какой вывод можно сделать? Вероятно, речь идет о лексической освоенности не отдельного слова, а всей словоформы вместе с предлогом, о ее некоторой устойчивости, традиционности: так, в сознании носителей языка зафиксированы словоформы *во Франции*, *во мглу*, но отсутствуют *ко Франции*, *во Мглин*.

Фактор 3. Еще один лексический фактор, отмеченный учеными, – употребление предлога во фразеологизмах. Во Фразеологическом словаре русского языка зафиксированы следующие устойчивые сочетания, в которых встречается вокализированный предлог:

с предлогом *во*: *ангел во плоти*, *брат во Христе*, *быть во всеоружии*, *быть (находиться) как во сне*, *войти(входить) во вкус*, *во здравие*, *во цвете лет*, *ни росинки во рту*, *семи пядей во лбу*, *сказать во всеуслышание*, *ставить во главу угла*, *стоять во главе чего-либо*, *стоять во фронт фрунт*), *таять во рту*, а также перед местоимением *весь*: *во все концы*, *во всей красе*, *во всей полноте*, *во всю Ивановскую (кричать)*, *во всю силу*, *во всю ширь*, *пуститься во все тяжкие*, *во весь голос*, *во весь дух*, *во весь опор (скакать)*, *во весь рост (вставать, встать)*, *во весь рот (улыбаться, улыбнуться)* и перед местоименным словом *что*: *во что бы то ни стало*, *кто во что горазд*, *ни во что не ставить кого-л.*;

с предлогом *со*: *глядеть со своей колокольни*, *сживать со свету*, *со щитом или на щите*, *покатываться (умирать) со смеху*, *сбрасывать со счетов*, *сгорать со стыда*, *со дна морского (достать)*, *со дня на день*, *со временем*, *со зла*, *со сна*, *сойти со сцены*, *со сквозняком в голове*, *со скрежетом зубным*, *со скрипом (делать что-л.)*, *смотреть (видеть) со стороны*, *со спокойной душой (совестью)*, *со школьной скамьи*, а также *со всех концов*, *со всех ног*, *со всего маху*, *со всей душой*, *со всем сердцем*;

с предлогом *ко*: *идти (пойти) ко дну*, *не ко двору*, *клонит ко сну*, *отойти (отходить) ко сну*;

с остальными предлогами: *изо дня в день*, *изо всех сил*, *изо всей мочи*, *день ото дня*, *воспрянуть ото сна* (книжн.).

В то же время словари дают такие варианты фразеологизмов, где встречается вокализированный/невокализированный предлог: *сбыть с (со) двора* [6], *впадать в (во) младенчество* [Там же], *в(во) мгновение ока* [7].

Анализ звучащей речи и проведенный эксперимент подтвердили, что в разговорной речи встречаются варианты предлога без *о* в устойчивых сочетаниях. Например, 40% участников эксперимента произнесли *Мужчина в цвете лет*; также были отмечены варианты *с дня на день, глядеть с своей колокольни, в сто крат*. Вероятно, безвариантное произношение предлога с дополнительным гласным возможно только во фразеологизмах, где предлог употребляется с местоимениями *весь* и *что*: все участники эксперимента (100%) произнесли *во весь голос*. И конечно, гласный в предлоге обязательно произносится, если находится во фразеологизме под акцентным выделением, например: *как кур во щи (попасть), покатываются (умирать) со смеху, сживать со свету* [8].

Итак, исследования подтвердили, что чаще всего дополнительный гласный *о* в предлоге проявляется во фразеологизмах. Был выявлен еще один лексический фактор, влияющий на вариативность предлога – лексическая освоенность словоформы, в которой употребляется предлог.

Стилистические факторы

Стилистический фактор, который выделяют ученые, оправдывает появление вокализированных предлогов как средства выразительности. В каких случаях?

1) в фольклоре, например *во поле во чистое; со павушкой, со кручинушкой* [9]; 2) при стилизации фольклорного стиля:

У меня ль, молодца,
Ровно в двадцать лет
Со бела со лица
Спал румяный цвет.

(А.Н. Полежаев. Песня, 1832)

3) в поэтическом, торжественном стиле, например: *во имя добра*, а также: “Кто так стучится смело?” – *Со гневом я вскричал...*” (М. Ломоносов. Ночную темноту покрылись небеса...); “И *во имя* твое святое / Поцелую вечерний снег...” (М. Цветаева. Стихи к Блоку); “Вспомни тайну первой встречи, день, когда *во храме* Пляски увлекли нас в темный круг..” (В. Брюсов. Встреча).

Обратим внимание, что примеры из русской классической поэзии подобраны так, чтобы исключить фонетическое влияние последующего слова на предлог.

Грамматические факторы

Грамматический фактор влияет лишь на произношение предлога *в(о)*, потому что только у этого предлога вокализированный вариант *во* может иметь самостоятельное значение или использоваться в сло-

воформах с определенным значением. Выяснилось, что вариант *во* употребляется:

1) в составе производных предлогов и предложно-падежных сочетаний: а) со значением совокупности людей, совместности (в род. и твор. п.): *во главе комитета, во главе с министром*; б) со значением временного интервала (в род.п.): *во время урока*; в) в значении “ради” (в род. п.): *во имя высокой цели*;

2) выступает как самостоятельный предлог со значением цели (*во = ради*) в официальном или торжественном стиле: *во избежание, во исполнение, во изменение* (ср.: *чтобы избежать, исполнить, ради изменения*); *во благо, во славу* (ср.: *ради блага, славы*).

Примечание: Н.А. Еськова заметила, что “вариант с *о* выступает в предложной конструкции, когда она имеет обстоятельственное значение” (*отойти ко сну, клонит ко сну; со дна (достать и т.д.)*, “тогда как в объектном значении конструкция включает вариант без гласной” (*привыкнуть к сну на свежем воздухе; счистить грязь с dna лищика*) [1]. Но действительность этого грамматического фактора вызвала некоторые сомнения. Проведенный эксперимент дал интересные факты. Например, один из опрошенных произнес предлоги так: “Я живу *во* Фряново” (где? – обстоятельственное значение) и “Я влюблен *в* Фряново” (во что? – объектное значение). Другой участник эксперимента произнес те же сочетания наоборот: “Я живу *в* Фряново” и “Я влюблен *во* Фряново”. Эти результаты подтвердили сомнения.

В то же время эксперимент, в который были включены примеры, приводимые Н.А. Еськовой, показал следующее. В большинстве конструкций в сочетании с одним и тем же словом предлоги произносились почти одинаково, несмотря на грамматическое значение словоформы: *Дом нуждается* (в чем?) *во дворе* (объектное значение, 100%) и *Мы вышли* (куда?) *во двор* (обстоятельственное значение, 100%); *Он вглядывался* (во что?) *во мглу* (75%) и *Он погрузился* (куда?) *во мглу* (80%); *Он счистил грязь* (с чего?) *со дна бассейна* (90%) и *Он достал раковину* (откуда?) *со дна моря* (100%).

Но в отдельных случаях картина была совсем иной. Например, в конструкциях с обстоятельным значением *исчез во тьме, отошел ко сну, пошел ко дну* вариант с *о* произнесли 95–100% опрошенных, тогда как в сочетаниях со значением объекта *вглядывался в(во) тьму, привык к(ко) сну на свежем воздухе, прикоснулся рукой к(ко) дну* тот же вариант произнесли лишь 12%, 50% и 37% соответственно. По-видимому, в последнем случае речь идет не о грамматическом, а о лексическом факторе: сочетания *исчез во тьме, отошел ко сну, пошел ко дну* являются устойчивыми словосочетаниями, они синтаксически несвободны (о чем, впрочем, упоминала Н.А. Еськова). Так, эксперимент показал, что грамматический фактор не оказывает существенного влияния на появление вокализированного варианта предлога.

Итак, появление дополнительного гласного в предлоге вызвано разными причинами, и выявить среди них главные или второстепенные сложно. Попытки сформулировать определенное правило произношения первообразных предлогов с гласным или без гласного на конце были, но все они носят не обязательный, а рекомендательный характер. Говорить о стопроцентной вероятности употребления вокализованного варианта предлога можно в исключительных случаях, связанных, как правило, с традицией, в основе которой лежат исторические корни. В целом же, как показало исследование, произношение вокализованных вариантов предлогов регулируется не только фонетически – здесь действует совокупность языковых факторов, действующих как согласованно, так и разнонаправленно. В связи с этим прогнозировать появление вокализованного / невокализованного предлога можно только предположительно.

Литература

1. *Еськова Н.А.* Лингвистический комментарий к “Орфоэпическому словарю русского языка”. М., 2005. С. 106–111.
2. *Мельчук И.* Опыт общей морфологии. Ч. 5. С. 237.
3. *Откупщикова М.И.* Синтез беглого *о* у первообразных предлогов // Информационные вопросы семиотики, лингвистического и автоматического перевода. Вып. 2. С. 1–3, 110.
4. *Розенталь Д.Э.* Управление в русском языке. М., 1997. С. 15, 20, 72, 91, 127, 140, 157, 201.
5. *Янко-Триницкая Н.А.* Русская морфология. М, 1989. С. 133–150.
6. Фразеологический словарь русского литературного языка / Под ред. А.И. Федорова. Новосибирск, 1995.
7. Словарь образных выражений русского языка / Под ред. В.Н. Телия. М., 1995.
8. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы / Под ред. Р.И. Аванесова. М., 1983. С. 543.
9. *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М., 1994. С. 332.
10. Объяснительный словарь русского языка: Структурные слова: предлоги, союзы, частицы, междометия, вводные слова, местоимения, числительные, связочные глаголы / Под ред. В.В. Морковкина. М., 2002.



“Покупки круглые сутки!”

Модальные значения в номинативных предложениях

© Д. А. ПАРАМОНОВ,
кандидат филологических наук

Изменения в нашем языке оказались не менее впечатляющими, чем изменения в жизни общества. Ритм жизни стал стремительным, и коммуникация стала осуществляться интенсивнее. Мы находимся в информационном пространстве даже тогда, когда ни с кем не разговариваем, не слушаем радио и не смотрим телевизор, а просто едем из дома на работу или с работы домой: в транспорте нас окружает реклама. Нам предлагают что-то купить, что-то посмотреть, куда-то съездить отдохнуть... И все это делается с помощью особых языковых средств, подобранных так, чтобы быстро, лаконично и ярко представить товар или услугу.

Почти все обращают внимание на слова, появившиеся в нашем языке совсем недавно, но не менее интересны и предложения, с помощью которых мы выражаем наши мысли. Построение предложений в текстах средств массовой информации (особенно радио и телевидения) и в текстах рекламы подчинено задаче лаконично и нестандартно представить какие-то сведения за короткое время. Используются такие предложения, в которых емкое содержание выражается в ком-

пактной форме: при наличии большого количества связанных друг с другом значений предложения имеют очень простую структуру. В настоящее время (особенно в текстах рекламного характера) мы наблюдаем предложения, в которых простота строения сопровождается выражением довольно разнообразных и связанных друг с другом значений. Одним из них является *модальное значение (модальность предложения)*. В любом предложении есть значение, связанное с проявлением того, как говорящий (пишущий) соотносит то, о чем он сообщает другому человеку, с реальностью: все, о чем мы говорим, мы мыслим либо как реальное, либо как предполагаемое (воображаемое), возможное, невозможное, необходимое, желательное или нежелательное и т.д. Без выражения в предложениях связи сообщаемого с реальностью нас бы просто не понимали!

Модальность – это отношение содержания предложения (или, как говорят в лингвистике, предикативной единицы) к реальности с точки зрения говорящего (пишущего). Именно в модальности проявляется индивидуальность языкового выражения мысли в процессе общения: разные люди могут видеть одну и ту же ситуацию по-разному. Известный лингвист Шарль Балли называл модальность душой предположения. И он был прав: благодаря выражаемому в предложении модальным значениям реальности, предположения, возможности, желательности, побуждения и т. п. предложение оживает, оно становится способным связать людей в процессе общения или, может быть, разделить их ... Без выражаемого в нем модального значения предложение потеряло бы способность функционировать как единица, пригодная для общения! В условиях современной коммуникации создаются такие предложения, в которых при наличии небольшого количества слов в их составе одновременно выражается несколько различных модальных значений.

В последнее время наблюдается активное употребление номинативных предложений – предложений, в которых нет глагола и функцию единственного главного компонента выполняет имя существительное в форме именительного падежа. Эти предложения мы слышим в речи журналистов, в рекламных роликах на радио и телевидении, читаем в вагонах метро и во время неспешного движения ступеней эскалатора ... Несмотря на простоту построения, в таких предложениях выражаются различные модальные значения. В одном номинативном предложении одновременно может быть выражено сочетание нескольких модальных значений:

реальность: *Летний вечер. Уже светит луна, но еще не стемнело;*
гипотетичность (предположение): *А, если б жара, что б ты делал?* (Сказать можно и по-другому: *А, если б была жара, что б ты делал?*);

побуждение: *Алексей! Свет!*;

необходимость: *Сейчас, чтоб пробиться на эстраду, либо деньги, либо связи.* Смысловой эквивалент: *Сейчас, чтоб пробиться на эстраду, нужны либо деньги, либо связи; Нам сейчас ничего не надо брать туда? – Нет. Только картошка и лук.* Смысловые эквиваленты: *Туда надо брать только картошку и лук / Туда надо только картошку и лук.*

Модальное значение “необходимость” представлено и в предложениях с именами существительными в именительном падеже в сочетании со словом *это*: *Если серьезно, профессионально заниматься спортом, это режим, это постоянные тренировки.* Смысловые эквиваленты: *Если серьезно, профессионально заниматься спортом, должен быть (нужен / необходим) режим, должны быть (необходимы / нужны) постоянные тренировки.*

Номинативные предложения с модальным значением “необходимость” достаточно активно используются в объявлениях в форме “бегущей строки” на телеэкране: *Срочно бетонщики с опытом работы.* Смысловой эквивалент: *Срочно требуются (нужны) бетонщики с опытом работы.*

Подобными предложениями, но с модальным значением “возможность” пестрит реклама: *М. видео. Покупки круглые сутки!* Смысловые эквиваленты: *М. видео. Можно делать покупки круглые сутки (круглосуточно)! / М. видео. Вы можете делать покупки круглые сутки! “Быстрые деньги”. Кредит за 30 минут.* Смысловые эквиваленты: *У нас вы можете получить кредит за 30 минут / У нас (в нашем банке) можно (возможно) получить кредит за 30 минут; Любая чистка одежды. Смысловые эквиваленты: Возможна любая чистка одежды / У нас можно сделать (вы можете сделать) любую чистку одежды.*

Модальное значение “возможность” выражается также в следующих номинативных предложениях: *МААЛОКС. Моментальное избавление от изжоги и боли в желудке* (Текст рекламы). Смысловой эквивалент: *Принимая “Маалокс”, вы сможете быстро избавиться от изжоги и боли в желудке; С заправкой для борца “МАГГИ” домашний борец без лишних хлопот* (Текст рекламы). Смысловой эквивалент: *С заправкой для борца “МАГГИ” вы сможете сварить (приготовить) домашний борец без лишних хлопот.* В таких предложениях в лаконичной форме описан возможный результат действия того средства, которое рекомендуется использовать. Модальное значение “возможность” представлено и в предложениях с именами существительными в именительном падеже в сочетании со словом *это*: *Автокредит – это ваш новый автомобиль сегодня* (Из текста рекламы). Смысловые эквиваленты: *Автокредит – это возможность*

приобретения вами нового автомобиля сегодня / Взяв автокредит, вы сможете приобрести новый автомобиль сегодня.

Довольно часто встречаются сочетания модальных значений в одном предложении:

“необходимость” и “побуждение”: *На первых этажах – в обязательном порядке – решетки на окнах.* Смысловые эквиваленты: *На первых этажах – в обязательном порядке – необходимо (надо / нужно / следует) устанавливать (установить) решетки на окнах* (необходимость) и *На первых этажах – в обязательном порядке – устанавливайте (установите) решетки на окнах* (побуждение);

“возможность” и “побуждение”: *Подробная информация по телефону... (Из текста рекламы).* Смысловые эквиваленты: *Подробную информацию можно (вы можете) получить по телефону* (возможность) и *Для получения подробной информации звоните по телефону* (побуждение);

“возможность” и “реальность”: *Фантастический подарок каждой! Л'Этуаль. Побалуйте себя* (Из текста рекламы). Смысловые эквиваленты: *Каждая женщина сможет получить фантастический подарок!* (возможность) и *Каждая женщина получит фантастический подарок* (реальность – ситуация будет иметь место после момента речи);

“необходимость” и “возможность”: *Здесь только операция.* Смысловые эквиваленты: *Нужна (необходима) только операция* (необходимость) и *Возможна только операция* (возможность);

“необходимость” и “реальность”: *Сейчас везде деньги. В одно место придешь – деньги, в другое место придешь – деньги. И везде деньги.* Смысловые эквиваленты: *Сейчас везде нужны (необходимы) деньги. В одно место придешь – нужны (необходимы / просят / требуют) деньги, в другое место придешь – нужны (необходимы / просят / требуют) деньги* (необходимость) и *Сейчас все решают (определяют) деньги. В одно место придешь – все определяют (решают) деньги, в другое место придешь – все определяют (решают) деньги* (реальность);

“побуждение”, “необходимость”, “возможность” и “реальность”: *Стало жарко?! Кондиционеры* (Текст наружной рекламы). Смысловые эквиваленты: *Покупайте (приобретайте) кондиционеры* (побуждение); *Нужно (надо / необходимо) купить (использовать) кондиционеры* (необходимость); *Можно купить (приобрести / использовать) кондиционеры* (возможность); *Есть (существуют) кондиционеры* (реальность);

“необходимость” и “желательность”: *Недорогая и эффективная реклама? Это у нас!* (телевизионное объявление в виде “бегущей строки”). Смысловые эквиваленты: *Вам нужна (необходима) недоро-*

гая и эффективная реклама? (необходимость) и *Вы хотите заказать недорогую и эффективную рекламу?* (желательность);

“реальность” и “возможность, мыслимая гипотетически”: *Вроде бы откуда новая посуда, но соседка этим гостем дорожит* (Из песни). Смысловые эквиваленты: *Удивительно, но у соседки есть новая посуда* (реальность) и *Вроде бы откуда у соседки могла взяться (появиться) новая посуда?* (возможность, мыслимая гипотетически);

“достаточность, мыслимая гипотетически”: *Одно бы ваше слово – и мы бы все сделали*. Смысловой эквивалент: *Было бы достаточно только одного вашего слова – и мы бы все сделали*. Интересно, что модальное значение “гипотетичность” в сочетании с модальным значением “достаточность” в едином содержательном комплексе “достаточность, мыслимая гипотетически” может выражаться даже без частицы *бы* (*б*) – основного выразителя данного модального значения: *Да мы бы все сделали. Одно ваше слово*.

“желательность” и “гипотетичность”: *Солнышко бы – так снег бы растаял*. Смысловые эквиваленты: *Мне хочется, чтобы было солнышко – и тогда бы растаял снег* (желательность) и *Если бы было (выглянуло) солнышко, так снег бы растаял* (гипотетичность).

Рассмотренные номинативные предложения используются для экспрессивного выражения мысли. Если в одном предложении сочетается несколько модальных значений, это делает речь содержательно более емкой и лаконичной.



Почему афиша не афиширует,
а вуаль не вуалирует

© С.Б. КОЗИНЕЦ,
кандидат филологических наук

“Я хочу *завуалировать* лицо”; “*Афишируйте* о спектакле по всему городу”, “Участок у меня *беспочвенный*, одна глина” – если мы встретим в речи подобные фразы, то воспримем их как шутку, каламбур, но не буквально. А почему, собственно, *вуалировать* обозначает не “закрывать лицо вуалью”, а “намеренно делать неясным, затемнять суть чего-л.”?

В русском языке есть масса производных слов, которые соотносятся со своими производящими не напрямую, а образно, метафорически: *змея* – *змеевик* “труба, изогнутая в виде спирали <напоминающая по форме змею>”, *стекло* – “стекленеть, становиться похожим на стекло” и т.п. Такое смысловое соотношение основ получило наименование *метафорическая мотивация* [1], а сами производные обозначаются как *словообразовательные метафоры* [2]. Словообразовательная метафора – это образное значение производного слова, мотивированное прямым значением производящего слова, например: *нога* “одна из двух нижних конечностей человека”; *подножие* “место у самого низа, основания чего-либо возвышающегося”. Таким образом, в отличие от метафоры лексической (например, *змея* “о коварном человеке”, *лететь* “быстро бежать”), словообразовательная метафора образуется при изменении морфологической структуры слова.

Многие из таких метафор были связаны со своими производящими метафорическими отношениями изначально (исторические словари фиксируют только метафорическую мотивацию таких производных): *беспочвенный* “необоснованный”, *бессердечный* “лишенный чуткости”, *бесчеловечный* “безжалостный”, *цыганить* “назойливо выпрашивать”. У подобных слов «исходное “порождающее” значение существует лишь потенциально» [3]. “Прямое” толкование таких производных будет опираться соответственно только на прямое значение

мотивирующего: *беспочвенный* “не содержащий почвы”, *бессердечный* “не имеющий сердца”, *цыганить* “быть цыганом или вести жизнь цыгана” и др.

У некоторых слов прямое значение невозможно даже потенциально, так как отсутствуют соответствующие явления действительности. Это в основном сложные слова, в смысловой структуре которых отражено взаимодействие двух понятий: не может быть буквально *прямой души* (*пряמודушный*), *острого глаза* (*остроглазый*); нельзя *резать волны* (*волнорез*). Сюда же относятся и слова *тугодум*, *буквоед*, *душещипательный* и др.

Однако большинство словообразовательных метафор изначально не имели метафорической мотивации. Исторически они восходят к метафорам лексическим, т.е. их переносное значение исконно – результат внутрисловной деривации: *молниеносный* “несущий, содержащий молнию”; *мелочный* “мелкий по величине, объему, размерам”; *поветрие* “заразительный воздух, причиняющий повальные болезни скоту или людям” [4]: “Направо от дороги, под двумя развесистыми березами, находилась *мелочная лавка*” (И. Тургенев); “Летающий пред грядой *молниеносных туч*, / Когда они, на мрачном небе / Простершился, пловцам предвозвещают бурю” (В. Капнист); “*Поветрия* на людей хотя по большей части в южных пределах здешнего государства случаются, однако всякие способы против того употреблять должно” (М.В. Ломоносов). В настоящее время эти значения считаются устаревшими или мыслятся как окказиональные. В новых толковых словарях они вообще не фиксируются.

Это самая большая в количественном отношении группа, поэтому история словообразовательной метафоры – это в подавляющем большинстве история утраты прямого значения производного и семантическая переориентация между производным и производящим.

Одна из причин утраты первичного значения – исчезновение той исторической реалии (социальных явлений, профессий и др.), которую данное слово обозначало. Существительное *юбочник* утратило значение “портной, шьющий юбки” вместе с профессией, которую оно обозначало: “После пирожника велено ей было зайти к *юбочнику*, узнать, готов ли заказ” (М. Погодин). Теперь юбочником называют “любителя ухаживать за женщинами”. Значение глагола *рабствовать* “быть рабом” исчезло вместе с рабством как общественно законным явлением: “Георгий *рабствует*, Дмитрий обладает” (А. Сумароков); актуализировалось значение “вести себя угодливо”: “Нет уж, я перед ним *рабствовать* не стану” (А. Островский).

Предмет мог не исчезнуть полностью, но потерять свою актуальность, выйти из моды: *вуалировать* “прикрывать, покрывать вуалью, скрывать от взоров” [5].

Прямое значение слова могло исчезать и в том случае, если производное имело однокорневой синоним с семантически более “нейтральным” суффиксом. Этот синоним и закреплял за собой прямое употребление, переводя другое производное в этом же значении в ряд архаизмов: *блестящий* “сверкающий” – *блистательный* “то же, что блестящий” (устар.): “И там, где металл *блистательный* сокрыт, там роет землю он глубокими корнями” (Ф. Тютчев) и “яркий, выдающийся”: “Его великолепный логический аппарат и *блистательное* умение формулировать” (Д. Рубина).

Словообразовательные метафоры, как и лексические метафоры со стертой образностью, могут оживлять внутреннюю форму, т.е. употребляться в прямом значении. Реализация прямого значения (потенциального или архаичного) является окказиональной и встречается в разговорной речи как каламбур и в художественной литературе, и в публицистике, где можно обнаружить немало примеров *буквализации* – “приема игры на внутренней форме, состоящего в нарочито-буквальном употреблении слова или фраземы” [6]. При буквализации словообразовательной метафоры происходит реализация прямого значения производящего в структуре производного: “Он [кугуар] на меня так *вызверился!* Из капкана рвется, сетка трещит, рычит, клыками сверкает” (В. Кунин); “Бычок копытами роет, *бычит*ся, как взрослый бык, но в шутку” (А. Славовский).

Буквализация достигается прежде всего помещением в контекст производящего или синонимичного производного той же словообразовательной структуры: “Здесь усыпальница *бессердечного* Шопена. *Бессердечного* в том смысле, что композитор был похоронен *без сердца*, увезенного за тысячу километров отсюда” (Б. Акунин); “Каждый, кому 24 октября 1917 года доводилось нюхать кокаин на *безлюдных* и *бесчеловечных* петроградских проспектах, знает, что человек вовсе не царь природы” (В. Пелевин).

Прямое и переносное значения могут совмещаться, если в тексте есть слово, сигнализирующее о реализации прямого употребления: “Доносчиков не уважал и доносы принимал только за обедом, после второго блюда в *предвкушении десерта*” (Э. Кочергин). Этот прием может актуализироваться с помощью кавычек: «Нужно ли *химичить*” на дачном участке. У сторонников применения *химических* препаратов на дачных участках есть оппоненты» (Репортер. 2006. № 32). В некоторых случаях может реализовываться только прямое значение: “По чевенгурским дворам *процветало* множество *трав*” (А. Платонов).

Эффект буквализации достигается также помещением в контекст слова с противоположной семантикой: “Амазонский змей, хоть с Москвой и ужился, *прохлаждаться* от занятий предпочитает в *теплой* воде” (В. Орлов).

Различные способы возникновения словообразовательной метафоры приводят тем не менее к единому результату: внутренняя форма производных слов получает метафорическое переосмысление, а прямое употребление становится окказиональным.

Литература

1. *Лопатин В.В.* Метафорическая мотивация в русском словообразовании // Актуальные проблемы русского словообразования. Ташкент, 1975.
2. *Козинец С.Б.* Словообразовательная метафора и смежные с ней явления // Русский язык в школе. 2007. № 2.
3. *Ермакова О.П.* Лексические значения производных слов в русском языке. М., 1984.
4. Словарь русского языка XVIII в. Л., 1984–2003.
5. Словарь современного русского литературного языка. М.–Л., 1950–1964.
6. *Москвин В.П.* Русская метафора: Очерк семиотической теории. М., 2007.

Саратов

Полчасика – это больше, чем полчаса

Количественная оценка в русском языке

© И. В. БЕЛЯЕВА,

кандидат филологических наук

Главное в количественной оценке – “человеческий фактор”, или роль познающего номинирующего субъекта: *Он съел только пять арбузов / Он съел целых пять арбузов*. Здесь речь идет об одной и той же ситуации, но варьируется позиция говорящего, его оценка. Элементом смыслового содержания слов *только* и *целых* является оценка: говорящий считает, что это много/мало. Даже такое “точное” средство передачи количества, как числительное, не свободно от национально-специфических интерпретационных компонентов. Дело в том, что числительные, как правило, принадлежат к исконной лексике. С помощью чисел люди издавна не просто осуществляли счет, но и стремились осмыслить (оценить) окружающий мир. То есть нумерология вовлекается в процесс национального самопознания и самовыражения. Многие из счетных слов оказываются насыщенными фоновой и коннотативной семантикой. Так, числительное *два* (и существительное *пара*) используется как символ для “мало” (*в двух шагах, от горшка два вершка, пара пустяков*), что, в общем, мотивировано. Но почему следующее слово в натуральном ряду чисел – числительное – *три* – уже символизирует “много”? – *Наврать с три короба*. А числительное *семь* (*семеро*) и вовсе связывается с представлением “очень много”: *семь нянек, работай за семерых, один с сошкой – семеро с ложкой, семь бед – один ответ, семь раз отмерь*.

Предметно-признаковое понимание количества отражается в том, что переносное количественное значение приобретает имена и именные слово-сочетания. Максимальное количество опредмечивается в выражениях типа *навалом, по горло, с лихвой, куры не клюют*, минимальное – *кот наплакал, с гулькин нос, капля в море*. “Знаками, материальными символами исчезающе малого или недостаточного количества становятся *крошка, росинка, песчинка...* В русском языке универсальным “инструментом” измерения наименьшего количества и проверки наличия или отсутствия чего бы то ни было становится *капля*, которой “измеряются” не только жидкие вещества, но и время, чувства, отношения – *подожди капельку, ни капли не боюсь*” [1. С. 109]. Действительно, количественное значение нивелирует различия в лек-

сической сочетаемости, характерное для прямых номинативных значений (*капля* сочетается с существительными, обозначающими жидкое вещество, *крошка*, *крупица* – твердое), и делает одинаково возможными сочетания их с отвлеченными существительными: *капля правды*, *крупица правды*.

В научном познании нужны все более точные измерения количества, в обычной жизни количество соотносится не столько с точной шкалой, сколько с жизненными ситуациями, и поэтому оно “опредмечивается”, а не исчисляется, оценивается, а не измеряется.

Оценка является субъективным выражением значимости предметов и явлений окружающего мира, а под значимостью обычно понимается способность или неспособность отвечать социальным потребностям человека. Значимость объекта в человеческом познании совсем необязательно связывается с противопоставлением “хорошо” и “плохо”, осуществляемым преимущественно на эмоциональном уровне. Помимо эмоциональной оценки существует оценка рациональная (или интеллектуальная). Разграничение эмоциональной и рациональной оценок отчасти условно, ибо любая эмоция, выражаемая в естественном языке, имеет рациональную основу. Количественная оценка, очевидно, ближе к оценкам интеллектуального типа, которые вообще ощущаются менее отчетливо. Предметом интеллектуальной оценки могут быть разные стороны реальной действительности в ее восприятии человеком: достоверность/недостоверность тех или иных фактов, бытование объектов во времени и пространстве, утилитарная полезность предметов. Количественная оценка имеет своим предметом сферу количественной определенности. Основанием оценки является сравнение с неким эталоном, идеалом, а также с некоей средней величиной или с ожидаемым количеством.

Как и эмоциональная оценка, оценка по параметру количества может передаваться суффиксами “увеличительности” или уменьшительности: “За десять месяцев следствия у Данилы сменилось три адвоката, каждый хотел только денег. В общей сложности Валентине Даниловне, матери солдата, пришлось занять у знакомых и в банке семь тысяч долларов. Тогда у нее не было времени подумать, как она будет возвращать такие *деньжищи* со своей мизерной пенсии. Главное – спасти сына” (Аргументы и факты. 2004. № 20). Здесь количественная идея становится вещественным значением основы производного слова – *деньжищи*, при этом к числу признаков, отраженных в лексическом значении мотивирующего слова, прибавляется количественный признак величины, отраженный в значении суффикса.

Суффикс уменьшительности, однако, не всегда передает оттенок значения “мало”. Ср. известную шутку: *Полчасика – это больше, чем полчаса* [2. С. 522], для адекватного понимания которой необходимы зоны совпадения фоновых знаний адресата и адресанта (в частности,

сведений о том, что уменьшительный суффикс переводит сообщение из деловой сферы в обыденную, а значит – допускает неточность измерения.

Различаются общеязыковые и индивидуально-авторские средства количественной оценки. К общеязыковым приемам относятся прилагательное *целый* и частицы *только, всего, аж*. Атрибутами *добрый, битый, целый* говорящий определяет количество в данной ситуации как слишком большое, а словами *только, лишь всего, несчастный, жалкий, какой-нибудь, какой-то* – оценивает его совсем небольшим. Слова *жалкий, несчастный* справедливо считают наиболее субъективными и эмоциональными. Говорящий считает, что количество чего-то оскорбительно мало, что не заслуживает обсуждения. С помощью слова *целый* он сообщает, что количество чего-либо выше нормы и ожиданий, возможно, и его собственных. Полная информация о количественно-оценочных значениях анализируемых слов содержится в Новом объяснительном словаре синонимов русского языка (под ред. Ю.Д. Апресяна), толковые словари русского языка детальных сведений такого рода не дают.

Существительные различных лексико-грамматических разрядов по-разному передают количественную оценку. Так, собирательные имена типа *крестьянство* включают сему “много” в основное лексическое значение. Д.И. Руденко [3. С. 175] считает, что для современного языкового сознания оценка “много” реально проявляется только у одного собирательного существительного – у слова *листва*. Прочие слова – *вишенье, гвоздь, камень* – малочастотны. А.И. Солженицын включил в свой “Словарь языкового расширения” немало таких слов: *вербняк, возовье* (обоз), *голье* (хворост), *квашенина, ковылье, корье, ковшня* (мошкара), *лепестье, черешенье* и мн. др. Однако оценкой “много”, очевидно, обладают и многие слова из ядерной лексики, в том числе и отдельные собирательные. Слово *студенчество* именно вследствие подразумеваемой оценки “много” легко входит в сочетания *студенчество нашего города, области, страны* и не типично в сочетаниях *студенчество второй группы первого курса*.

Помимо оценки “много” собирательным именам можно приписать еще одну оценку интеллектуального типа – “важно”, которая выделяется менее отчетливо. «Природа оценки “важно” состоит в целомном отражении значимости как таковой. Именно потому, что у слов *студенчество, учительство* есть оценка “важно”, неприемлемы высказывания типа * *студенчество сидело на скамейке, учительство шло в столовую*, ибо действия, о которых говорится в этих предложениях, в оценке большинства носителей языка не являются особо значимыми» [4. С. 203]. Не отрицая справедливости этого наблюдения, отметим следующее: приведенные высказывания не нормативны еще и в силу того, что эти собирательные имена здесь выражают (в норме)

собственно количественную оценку. *Студенчество, учительство* – это “много”. Уже поэтому *студенчеству* затруднительно сидеть на скамейке или идти в столовую. Когда говорится “судьба казачества”, то имеется в виду судьба *многих* или даже всех представителей этого сословия. “Судьба казаков” – это может означать только отдельных (немногих) представителей сословия. Ср. также: «Получили свободу слова – да нечего весомого сказать. Вместо воскресшей литературы да полилось непотребное пустозвонство. Литераторы – режутся. Какая у них ответственность перед будущим России, перед *юношеством*? Стыдно за такую “свободную” литературу» (А. Солженицын. Богатырь).

Иначе передают количественную оценку вещественные и отвлеченные имена. У них для этой цели служит форма множественного числа. Так, есть ряд лексем, которые регулярно передают формой множественного числа смысл “много”: *прибрежные воды, воды Тихого океана* и проч.; “Между нами *снега и снега*” (А. Сурков) – здесь количественная множественность и протяженность подчеркнуты не только числовой формой, но и повтором. Значение большого количества, очевидно, может быть приписано форме *чаи* в типичных выражениях *гонять чай, пивать чай* (это значение поддерживается способом глагольного действия, особенно в случае с суффиксом – *ва*). *Чаи* здесь не “разные сорта чая”, а именно “большое количество”.

Иногда (например, в “Словаре лингвистических терминов” О.С. Ахмановой) множественное число типа *воды, снега* называют “эмфатическими” или “поэтическими”. В то же время частотны вполне обычные, стандартные формы *пески, воды, льды* для обозначения большого количества: “Скопление *льдов* в прибрежных водах резко сдерживало рейдовую разгрузку судов”. Возможно, такие формы стали менее обыденными в современном языке по сравнению с XIX веком: “Зима уходила, и *снега* стали сереть; кончался пост” (Н. Лесков. Смех и горе) – здесь вполне могла бы быть и форма единственного числа. Но для передачи заведомо большого количества все-таки нормативной является форма множественного числа. Следует сказать: *бороздить воды океана, но: скрылся под водой*.

Иногда в узком контексте встречаются обе формы – множественного и единственного числа слова *песок* и отчетливо видно, каковы особенности синтагматики обеих форм: “Ландшафт семнадцатой песни – раскаленные *пески*, то есть нечто перекликающееся с аравийскими караванными путями. *На песке* сидят самые знаменитые ростовщики – Gianfigliacci и Ubbriachi из Флоренции, Scrovigni из Падуи” (О. Мандельштам. Разговор о Данте). Очевидно, что числовые формы здесь глубоко закономерны, число не может быть приравнено к “пустой” этикетке, не передающей денотативной сути (это ясно хотя бы из полной невозможности поменять местами формы единств. и множеств.

числа – *пески и песок*). Так что главное назначение таких форм не столько в эмфатическом выдвигании, сколько в акцентировании смыслов “много”, “большое пространство”, “большое количество”. И если такую форму употребить там, где смысл “много” неуместен, создается комический эффект: “И великий комбинатор поплыл на боку, раздвигая *воды* медным плечом и держа курс на северо-восток, где маячил перламутровый живот Скумбриевича” (И. Ильф и Е. Петров. Золотой теленок) – ясно, что человек не может раздвигать плечом столь большое количество воды, чтобы его надо было называть с помощью формы множественного числа, значит – это не стандартная форма, а стилистически маркированная.

Формы множественного числа от отвлеченных существительных способ-ны передавать различное семантическое и прагматическое содержание, в том числе – и количественную оценку (“много”): “Жили в славе, а вышло – в позоре. В трех соснах, задыхаясь, кружились. Сколько *горь* в громадном горе, Словно в нашу судьбу сложились” (Е. Евтушенко. Там, где горе). Ср. форму *плачи* в финальной части рассказа А. Солженицына “Матренин двор”. Когда гибнет Матрена, двор наполняется плакальщицами, провожающими человека в последний путь на старинный манер. И тут слышится три типа плача: надгробный плач в собственном смысле, плачи-обвинения и плачи – ответы на обвинения: “Так *плачи сестер* были *обвинительные плачи* против мужниной родни: не надо было понуждать Матрену горницу ломать”. Рассказчику явственно видится все спрятанное за ритуалом плача, ему понятны тайные мотивы, очевидны различия мыслей и чувств плакальщиц. И для передачи всех этих смыслов – собственно множественности, длительности, интенсивности и разнородности применяется форма множественного числа от абстрактного имени – *плачи*.

Смысл “много” предельно важен для А. Солженицына, когда он использует маркированную форму множеств. числа – *памяти*: “Эта книга создавалась во мгле СССР, толчками зэческих *памятей*...” (Архипелаг ГУЛАГ).

Для идиостиля А. Солженицына чрезвычайно показательны (как символы эпохи тоталитаризма) формы множественного числа от слов *ложь*, *злоба*: “Натуральными обломками предфевральских и февральских дней – мненьями подлинными и мненьями, придуманными для публики, лозунгами, *лжами*, быстро организовавшейся газетной трескотней с ее клеймами, несвязанностью столичных событий со страной, ничтожностью, слепотой или обреченной беспомощностью ведущих вождей революции” (Угодило зернышко промеж двух жерновов); “Сколько наших поэтов и писателей напоминали об этом: как прекрасен мир – и как принимают и отравляют его люди своими *неиссякаемыми злобами*” (Эго).

Количественная оценка может передаваться не только лексическими и словообразовательными средствами, но также и грамматическими формами и синтаксическими конструкциями. Одним из самых распространенных синтаксических средств передачи идеи количества является повтор: “Первые впечатления детства: *барки, барки, барки*. Барки заполняют Неву, рукава Невы, каналы” (Д. Лихачев. Раздумья). Конечно, далеко не всякий повтор связан с передачей количественной оценки “много”: “Вы слышите: грохочет барабан. Солдат, *прощайся с ней, прощайся с ней*” (Б. Окуджава). Естественно, повтор не означает здесь приглашения попрощаться дважды. Это означает: “торопись прощаться”, или: “прощайся навсегда”, или: “прощайся с ней, со своей единственной”. Но никогда это не может быть понято: “прощайся с ней, еще раз прощайся с ней” [5. С. 144]. Возможны также случаи, когда повтор приобретает не значение “много”, а, напротив, значение “мало”: “Конечно, по уму-то надо было через руководство действовать, как-никак коллега, но *время, время, время...* Его не хватало” (А. Маринина. Закон трех отрицаний). Характерно, что даже если бы здесь не было замечания *его не хватало*, повтор все равно передавал бы именно смысл “мало”, так же как и в другом примере: “Хотел купить дом, но *деньги, деньги, деньги...*”

На современном этапе развития языка, когда его носители обладают огромным запасом языковых средств, особый интерес представляют вопросы, связанные не столько с тем, как отразить то или иное мыслительное содержание, сколько с тем, как это сделать наилучшим образом, то есть решить коммуникативные задачи с максимальным эффектом воздействия на адресата речи. Количественная оценка, в сферу которой вовлекаются единицы всех уровней – от словообразования до синтаксиса, – оказывается в ряду тех прагматических средств, которые способствуют усилению экспрессивности и выразительности высказывания.

Литература

1. *Рябцева Н.К.* Размер и количество в языковой картине мира // Логический анализ языка. Языки пространств. М., 2000.
2. *Санников В.З.* Русская языковая шутка. От Пушкина до наших дней. М., 2003.
3. *Руденко Д.И.* Имя в парадигмах философии языка. Харьков, 1990.
4. Теория функциональной грамматики. Качественность. Количественность / Под ред. А.В. Бондарко. СПб, 1996.
5. *Милевская Т.В.* Связность как категория дискурса и текста. Ростов н/Д, 2003.

КАКИЕ СРАВНЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ

© М. Н. КРЫЛОВА,
кандидат филологических наук

Наблюдая за развитием языка в течение некоторого времени, социолингвисты имеют возможность убедиться, что изменения, происходящие в области лексики, фразеологии, средств языковой выразительности, особенно тесно связаны с состоянием общества, его культурным уровнем.

Сравнительные конструкции, являясь важнейшим элементом системы выразительных средств русского языка, живо отреагировали на изменения в языке постсоветского периода.

Мы произвели анализ пяти тысяч сравнений, отобранных из разнообразных устных и письменных источников: современных литературных произведений различных жанров; средств массовой информации; рекламы; текстов популярных песен; языка художественных фильмов и т.п. Подбор источников производился таким образом, чтобы составить максимально объективную картину состояния и семантического наполнения сравнительных конструкций в современном русском языке.

При описании компонентов структуры сравнений мы будем использовать следующую терминологию: “1) то, что сравнивается, – субъект сравнения, 2) то, с чем сравнивается, – объект сравнения, 3) признак, по которому сравнивается, – основание сравнения” [1].

Мы можем отметить следующие изменения в использовании сравнительных конструкций в современном русском языке.

Объектами сравнений все чаще становятся названия научных и технических новинок, активно вошедших в нашу жизнь в течение последних десятилетий: *виздук, болид, камера слежения, компьютер, компьютерная игра, “Пентиум”, электронная почта, мобильная связь* и под. Их использование носителями языка представляется нам неизбежным и логичным: стремительное развитие техники, прогресс науки отражается в первую очередь в языке. Анализируя сравнения с данными объектами, мы сделали следующее наблюдение: в подавляющем большинстве с техническими новинками сравниваются люди: “Лена, *как камера слежения*, по звуку или отсутствию звука, моментально определяла, что я свободен” (телепередача “Няня спешит на помощь”); “Мы, азербайджанцы, *как мобильная связь*: для Кавказа исходящие, для России входящие” (телепередача “КВН”); “А у меня глаз *как УЗИ*” (телесериал “Все смешалось в доме”). Примыкают к

объектам данной группы названия новых предметов и явлений, появившихся в обиходе и в общественной жизни: *кока-кола, песпсислайт, круассан, кукла Барби, нетарды, пазлы, допинг, одноразовая посуда* и под. За последние несколько лет данные объекты стали частью нашей жизни, что отразилось на их использовании в речи: “Слепых и тупых исполнителей... не жалко терять, потому что в примитивности своей легкозаменяемы и дешевы в изготовлении, как *одноразовая посуда*” (О. Маркеев. Черная луна).

Наблюдается использование объектов сравнения, связанных с сексом, половыми отношениями. С карнавальной легкостью авторы шутят на сексуальные темы, бравируя объектами *публичный дом, импотент, проститутка, сперматозоид* и т.п. или употребляют вульгаризмы, в большей или меньшей степени грубые ругательства: “Стоп, стоп, ну чо ты вихляешься, *как глист какой?*” (Телесериал “Большие девочки”); “Проболтается всю жизнь, *как кусок дерьма в проруби* – мелкие пакости, мелкие благодти...” (С. Лукьяненко, В. Васильев. Дневной Дозор); “Он богатый был, *как сука*, а жениться не хотел” (А. Маринина. Чужая маска). Чаще всего подобные сравнения вводятся авторами в реплики персонажей книг или телесериалов и имеют целью оскорбить одного из героев: “Холодильник пустой, *как Светина башка*” (Телесериал “Счастливы вместе”).

Большую группу новых образов сравнений составляют объекты, называющие различные явления, связанные с кино, сериалами, шоу-бизнесом, телевидением, рекламой. Например: “Быстро! *Бэтманом* полетел!” (Художественный фильм “Здравствуйте, я ваша крыша”); “Судебное заседание транслируется в прямом эфире и *напоминает реалити-шоу*” (программа “Сегодня”, НТВ); “Они обнялись и принялись молотить друг друга по спинам с *энтузиазмом спятивших зайчиков из рекламы батареек*” (С. Лукьяненко. Последний Дозор).

Данные объекты демонстрируют такую особенность современного общества, а значит, и языка, как зависимость от телевидения. Точнее от телевизора как обязательного предмета в каждом доме. Используя в качестве объектов сравнений данные названия, носитель языка подразумевает, что будет понят каждым воспринимающим текст. Названия фильмов и сериалов, имена их героев и звезд шоу-бизнеса знакомы современному человеку порой лучше, чем названия и имена героев литературных произведений.

Субъект сравнения также может выглядеть вызывающе, намеренно грубо: “*Секс* – это как велосипед: пока крутишь педали, едешь” (Телесериал “Бес в ребро”); “Что-то не похоже, чтобы эти *жлобы* преодевались к завтраку, как английские лорды” (Телесериал “Возвращение Мухтара”).

Можно отметить также использование при создании сравнительных конструкций символов, значимых в советскую эпоху: “Марина

плоская, как доска почета” (Газета “Моя веселая семейка”); “Я уже тут как *Зоя Космодемьянская*: замерз совсем” (Телесериал “Агент национальной безопасности”); “И сразу появится моя подруга Верка, которая будет меня пытаться, как *фашисты Молодую Гвардию*” (Телесериал “Моя прекрасная няня”). В большинстве случаев такие сравнения позволяют себе авторы молодые, не успевшие в новой обстановке как приобщиться к старым идеалам, так и, к сожалению, приобрести новые. Людям старшего поколения видеть и слышать такие сравнения, в разной степени наполненные подтруниванием, высмеиванием и даже глумлением над историческим наследием Родины, несомненно, больно.

Нарочито пренебрежение литературными нормами русского языка нашло отражение и в построении сравнительных конструкций. Нарушаются чаще всего морфологические нормы: “...А некоторые как *папы Карлы* ишачат, убивцев по всей Москве разыскивают” (А. Маринина. Седьмая жертва). В данном, уже ставшем устойчивым, сравнительном обороте нарушена норма несклоняемости ряда необрусевших имен существительных, в том числе и имен собственных. Построение сравнительной конструкции вполне вписывается в структуру всего предложения, соседствуя с другой нелитературной формой *убивцев*.

Наблюдаемые нами изменения (большей частью негативные, а порой даже пугающие) сравнительных конструкций современного русского языка имеют следующие психологически объяснимые и социально оправданные причины.

Ведущие многих телепрограмм, в первую очередь молодежных, считают единственно возможным способом общения со своей аудиторией развлекательный принцип шоу – агрессивно окрашенный разговор с активным использованием просторечий, жаргонов, сленга, вульгаризмов.

Использование запрещенных или, по крайней мере, не одобряемых окружающими языковых элементов часто может объясняться стремлением говорящего или пишущего подчеркнуть свою принадлежность к той или иной социальной группе; такие сравнения – это языковые метки, необходимые для самоидентификации носителя языка.

Журналисты и другие авторы текстов, имеющих особенное влияние на современных носителей языка, стремятся “принизить” собственного читателя и слушателя. По замечанию А.А. Однородовой, “иметь сегодня аудиторию грамотную, образованную, адекватно реагирующую на высказывания журналистов, не выгодно” [2]. Аудитория, “приниженная” в языковом отношении, со временем, причем довольно быстро, теряет и свою идейную самостоятельность, становится послушным орудием в руках умелых манипуляторов – телеведущих, музыкальных кумиров и т.п. Такой аудиторией легче управлять в дальнейшем.

Грубые, этически спорные элементы языка, используемые в сравнениях, являются одним из не самых честных способов привлече-

ния внимания к своему творчеству, будь то телепрограмма, песня, литературное произведение. В.Э. Морозов отмечает “желание пооригинальничать, проявить себя если не в содержании мысли, так хотя бы в форме ее выражения” [3]. Действительно, выделиться на фоне современной теле- и литературной продукции в условиях жесткой конкуренции достаточно сложно, поэтому для ряда авторов здесь ведущим является один из древнейших принципов – “все средства хороши”.

Еще одну причину наблюдаемых в сравнительных конструкциях изменений можно назвать заигрыванием с народом, которое особенно ярко проявляется в языке средств массовой информации. Авторы как будто кричат: «Посмотрите, какие мы в доску свои! Где еще вы найдете такой “демократичный”, “народный” язык? Так купите же именно нашу газету!» С.Г. Михейкина отмечает по этому поводу: “Но в погоне за подписчиками пресса не задумывается, нужны ли обществу ее порой примитивные заигрывания с народом” [4].

Самой безобидной причиной появления вульгарных, грубых сравнений в современном языке является, с нашей точки зрения, желание рассмешить читателя (слушателя), создание атмосферы более или менее дружеского подтрунивания над языком, над отношением к нему в современном обществе и над самими собой как его носителями.

А вот агрессивный, деструктивный характер языковой игры объясняется, несомненно, социальными причинами. В условиях царящей в обществе раскрепощенности, переходящей во вседозволенность, ждать от носителя языка сознательной саморегуляции при построении фразы, в том числе с использованием сравнительной конструкции, по меньшей мере, неразумно. Можно сколько угодно призывать к борьбе за чистоту языка, но, пока не будет чистоты поведения и мыслей, язык будет демонстрировать негатив, ведь он, как лакмусовая бумажка, отражает все, что происходит в обществе.

Литература

1. *Мещеряков В.П.* Фигуры речи. Тропы // Основы литературоведения / Под общ. ред. В.П. Мещерякова. М., 2000. С. 78.
2. *Однородова А.А.* По моде дня // Русская речь. 2006. № 4.
3. *Морозов В.Э.* Ради красного словца. По поводу интернет-сайта udaff.com // Русская речь. 2006. № 6.
4. *Михейкина С.Г.* “Замутить про журавлей”. О некоторых заголовках в печати // Русская речь. 2006. № 2.

*Зерноград
Ростовской обл.*



Древнейшее русское каноническое сочинение киевского митрополита Георгия

© Г. С. БАРАНКОВА,
кандидат филологических наук

Вопрос о сочинениях, оставленных киевским митрополитом Георгием, греком по происхождению, который находился на митрополичьем престоле с 1061/62 по 1075 годы, являлся предметом оживленных дискуссий в течение многих лет. Георгий оставил заметный след в истории русской церкви в самый ранний ее период. Он участвовал в перенесении мощей князей-мучеников Бориса и Глеба. Известно, что Георгий, поначалу “не твердо веруя к святыма”, но впоследствии, уверившись в их святости, способствовал распространению их культа на Руси. При нем, митрополите, осуществилось введение преп. Феодосием Студийского устава в Киево-Печерском монастыре.

Митрополиту Георгию приписывался памятник, сохранившийся в единственном списке XV века – “Стязание с латиною” (РНБ, собр. Софийское, № 1285, лл. 102в–105 г). Как это следует из заглавия, он был посвящен антилатинской полемике, однако авторство Георгия подвергается большому сомнению, так как более чем наполовину текст совпадает с Посланием киевского митрополита-грека Никифора князю Владимиру Мономаху [1. С. 58; 2. С. 351; 3. С. 43].

В науке еще в XIX веке было выдвинуто предположение о том, что Георгию принадлежит первое в древнерусской литературе каноническое сочинение, не дошедшее до настоящего времени, но составившее основу для последующих произведений этого жанра. Несмотря на уси-

ленные поиски, ученым не удалось найти сочинения, которое было бы подписано именем Георгия. О его наличии судили косвенно, по другому каноническому памятнику – “Вопрошанию Кирика” (1110 – после 1156/58), иеродиакона и domestика церкви св. Богородицы Антониева монастыря. В этом произведении Кирик задает вопросы новгородскому епископу Нифонту, пространные ответы которого содержат правила, регламентирующие порядок службы священников, причащения ими мирян и т.п.

В своем Вопрошании Кирик ссылается на три статьи из сочинения митрополита Георгия, при этом единожды упоминается имя “митрополита Георгия руськаго”, далее сообщается, что за митрополитом записывал текст Феодос, которого большинство исследователей отождествляли с Феодосием, игуменом Киево-Печерского монастыря. Произведение же, на которое ссылался Кирик, названо им “Написанием митрополита”, а статьи, приписываемые этому митрополиту, следующие: об отправлении сорокоуста по живых; о супружеском воздержании во время Великого поста и о невозможности причащения попадьи своим мужем.

Основываясь на этих данных, еще в XIX – начале XX века ученые пытались отождествить известные им анонимные канонические сочинения с произведением Георгия. Историк Русской Церкви Е.Е. Голубинский [4. Т.1. Ч. 2. С. 531] считал таким произведением, принадлежащим перу Георгия, “Заповедь ко исповедающимся сыном и дочерем”, хотя и допускал, что в тексте, относимом к XI веку, могли быть сделаны позднейшие вставки. Н.С. Тихонравов рассматривал “Заповедь...” как апокрифическое сочинение, с чем был согласен А.С. Павлов, также не включавший его в разряд древнерусских канонических произведений и не разделявший точку зрения Голубинского [2. С. 346–347]. С.И. Смирнов полагал, что сочинение Георгия все же существовало, но отождествлял его с анонимным произведением, сохранившимся в сборнике ГИМа (Синодальное собр. № 3), которое он условно назвал при публикации “Написанием митрополита Георгия рускаго и Феодоса” [5. С. 39–41, 309–319]. Дополнительным аргументом в пользу этой атрибуции Смирнов считал наличие в открытом им памятнике статьи о невозможности причащения священником своей жены.

В последующие годы окончательного ответа на этот вопрос так и не было дано. Одни ученые продолжали обсуждать вопрос об объеме сочинения Георгия, его составе, другие сомневались в самом факте его существования, однако все реконструкции, предпринятые по выявлению состава сочинения Георгия, были гипотетическими до тех пор, пока Л.В. Мошковой и А.А. Туриловым не был найден единственный список (РГБ, собр. Юдина № 1, XV в.), содержащий текст под названием “Неведомых словес изложено Георгием, митрополитом Киевским. Герману игумену въпрашающу, оному поведающу”,

находящийся в указанной рукописи на лл. 23–28 [6. С. 68–71]. Впоследствии он был издан А.А. Туриловым [7. С. 211–262]. Им же было проведено сравнение статей новонайденного памятника с аналогичными по содержанию статьями из других канонических произведений древнерусской литературы, дошедшими до нас в списках XIV–XVI веков. При этом А.А. Турилов отметил, что наибольшее совпадение наблюдается с “Заповедью ко исповедающимся сыном и дочерем”, “Написанием митрополита Георгия русского и Феодоса”, “Изложением правилам апостольским и отеческим”, “Правилom с именем Максима” и др.

Между тем, текст этого произведения представляет значительный интерес для историков церкви и Киевской Руси, так как содержит немало интересных сведений о жизни древнерусского общества XI века, а также самые ранние материалы, связанные с епитемийно-канонической и общедисциплинарной практикой священников. Здесь и правила о крещении взрослого человека – “Аще велика(о) ч(е)л(ове)ка кр(е)стити, да пред кр(е)щением не ясть маса 7 дни(и) ни масла, а во осмы д(е)нь раздрешити”; “А в говение достоин ч(е)л(ове)ка велика кр(е)стити в субботу и в нед(е)лю” и епитемья, наложенная в течение года за продажу христианина “челядина поганым” (язычникам), и свидетельства о сохранении язычества еще в XI веке – “Аще бы в поганых створил будет грех какыи любо, то за то нес(ть) опитемии” (л. 23 об.), и данные о борьбе с еретическими воззрениями – “Аще ли кто впадет в ересь и отвръжеться и обратится, да проклинает еретическую веру пред народом и, взем м(о)л(и)тву, ясть же с кр(е)стианы, но примет опитемию 2 лета от ц(е)ркви и от комканиа и от доры и от мяса и от масла и меду, такоже и пост. Егда скончает епитемию, помажут миром, отдадут опитемию ему и комкает” (л. 24).

Как отголосок языческих верований, смешанных с христианскими представлениями, можно рассматривать статьи, предписывающие христианину, отправляющемуся в путь, взять с собой “землицы”, смешанной с богоявленской водой, заменяющей путнику причастие на чужбине – “Аще которыи кр(с)тианъ да идет на путь, да возмет с собою землицы, смешены въ богоявленней воде на Велик день и на Р(о)ждство Х(ри)с(то)во и на Петровъ д(е)нь, размесивше и в чистой воде и пиет, да возмет мясо” (л. 24 об.). А.А. Турилов отметил эту статью как ранний пример письменной фиксации народных представлений о святости земли, однако считал, что слово *землица* было вставлено в списке вместо слова *хлебцы* [7. С. 232, 240].

Имеются в памятнике бытовые предписания, связанные с употреблением в пищу нечистых животных и насекомых – “Аще ся скотина възбесит и зарежут ю ясти, но простеи челяди, ли сиротам, не покаляльником” (л. 25); “Аще пес налочет что ли сверчек впадет, ли стонога, ли жаба, ли мыш(ь) согниет и разидется гноем, того не ясти, или вкусит не ведаа 8 днии, да постится. Аще ли не изгнеет, то молитву

створше [ясти? – Г.Б.]” (л. 27); правила, относящиеся к одежде, – “Мужем не достоин в женских портах ходити, ни женам в мужьских” (л. 24). Предписания епископам выделены в отдельную главу “А се о епископех”; сведениям о церковном устройении, в том числе об освящении новой церкви, посвящена глава “А се о церкви”. Отдельный блок текста посвящен антилатинской полемике, в нем содержатся разнообразные запреты на общение с латинянами в церковной и бытовой сфере – “Не подобает убо у латыни комканиа приимати, ни м(о)л(и)твы, ни пити с ними из единех чашь, ни ясти с ними из единех съсудов, ни понагиа имъ давати” (л. 24 об.).

В связи с тем, что Ответы митрополита Георгия на вопросы игумена Германа сохранились в единственном списке XV века, вопрос о подлинности памятника и об отнесении его ко второй половине XI века требует дополнительного исследования. С содержательной стороны он был досконально изучен А.А. Туриловым, по мнению которого “среди правил нет, как кажется, ни одной статьи, которая не могла бы быть отнесена к третьей четверти XI в., – времени возникновения первоначального текста вопрошания” [7. С. 217]. В то же время публикатор отметил, что статьи, приписываемые Георгию в Кириковом Вопрощании, в найденном памятнике отсутствуют.

При издании А.А. Турилов обратил внимание на дефектность списка “Неведомых словес”, в котором между листами 26 и 27 в кодексе утрачен один лист. Следующий далее текст на лл. 27 и 28, по мнению А.А. Турилова, скорее принадлежит тому же произведению Георгия, чем является самостоятельной подборкой правил [7. С. 214].

Однако детальное обследование нами рукописи РГБ, собр. Юдина № 1 показало, что лист, который публикатор считал утраченным, находится в рукописи не на своем месте (по нумерации это лист 30) и написан он тем же почерком. Текст на л. 27 об. заканчивается словами: “Аще покаалнику жена у...” (это пункт 81 в издании Турилова), а текст на л. 30 является его явным продолжением: “мрет прваа ли не покаалнику, аже оженится второе закон и хоцет ся венчати, венчается, но не главе, покладати венца, но на раме”. Эта статья имеет довольно близкое соответствие с пятым по номеру пунктом в “Правиле с именем Максима”, ср.: “Аще кому жена прваа умрет да оженится и второю, в законе венчается, да не на главе ему покладается венец, но на раме, и примет епитем(и)ю от году до году” [5. С. 51]. В то же время конец л. 29 свидетельствует о том, что его продолжение находится не на л. 30, а на л. 31:

л. 29 об.: “... о сем бо извести б(о)ж(е)ственныи Павел С(вя)т(а)го Д(у)ха гл(агола)вша. Чашу же похоронит поп ли диакон пръвое похоронили, второе с вином, тре[тее. – Г.Б.] с водою. иже с(я) потребит е с вином, то не по[требит (?)] – Г.Б.]...”

л. 31: “аще ли с водою последи, да не потребится, но губою потребится прилежно”. Взятое в квадратные скобки восстановлено нами, так как часть текста не читается из-за того, что края листа заклеены при реставрации.

На л. 30 содержатся те же статьи канонического и обрядового характера, что и на предыдущих листах 23–27 и л. 28. Он так же разделен на отдельные пункты небольшими киноварными заголовками, местами пропущенными из-за невнимательности писца, как это имеет место на предыдущих листах. Всего здесь насчитывается 20 статей (не считая пункта 81, пронумерованного в издании Турилова), из которых только для четырех (11, 15, 17, 18) нам не удалось отыскать соответствий в других епитемийных памятниках. При этом одна статья явно производит впечатление испорченной: 4. “По 40 десяти лет достоин прозвутеру в ризах”. Также сильно искажена при переписывании статья 13: “Аже ся покаеши ко о(т)цю, а будет покаался поп ж(е), да аже с(я) охавит поповства о(те)ц таж(е) начнет ходити покаатис(я) к с(ы)нови вышнему, не достоин приати, зане отец ему был”, ср. аналогичный пункт в “Изложении правилом апостольским и отческим”: “30. Поп аще покается ко отцу да же ся охавит отец поповства и хотити начнет покаатис(я) к сыну бывшему, не достоин его приимати, зане о(те)ц ему был” [5. С. 57].

Весьма интересна статья восемнадцатая, связанная с отношением к князю, на которого наложена епитемья. К этому пункту нам не удалось найти соответствий в ранней компиляционной епитемийной литературе: “Аще будет княз(ь) во опитемии, еяже ради негде лзе в ц(е)рк(о)вь ити и стояти и вдасть м(и)л(о)ст(ы)ню, того ради да бы стоял в ц(е)ркви, да хранит опитемию от комканиа и от мяса”. Этот пункт хорошо согласуется с рядом ответов Георгия, непосредственно связанных с особенностями жизни домонгольской Руси, о чем уже говорилось.

Содержащиеся на л. 30–30 об. статьи не повторяются в тексте на лл. 23–28, кроме правила 14°, соотносящегося с номером 76 в основном тексте, которое, впрочем, можно рассматривать как вариант, не полностью совпадающий с правилом под номером 76, опубликованным А.А. Туриловым: “Аще поп д(у)шю погубит, то не пети ему в ризах, то ему за опитемию, такоже и блуд створил”, ср. : 76. “Поп, аще творит блуд, не пети ему до см(е)рти в ризах” [7. С. 247].

Отсутствие таких повторов является дополнительным свидетельством принадлежности листа 30 тексту того же памятника. Однако конец л. 30 дает возможность предположить, что за ним скорее всего пропущен еще один лист. Тем самым вопрос о дефектности списка остается открытым.

Находка еще одного листа из Ответов митрополита Георгия возвращает нас к свидетельству Кирика, упоминавшему в своем Вопросе

шании к Нифонту “Написание митрополита”. При этом, как уже указывалось, один раз определенно говорится о том, что этим митрополитом был Георгий. В связи с этим особый интерес вызывают две статьи – 5 и 7, содержащиеся на анализируемом 30-м листе: 5. “Аще кто дасть в животе сорокоустие, отправить достоин и Пети”. Свидетельство о наличии подобной статьи в “Написании митрополита Георгия” приводит Кирик: “Прашах его сего аще дают сорокоустие служити за упокой и еще живу суще. Не может, реч(е), того възбранити, а еже приносать сп(а)сения хотячи д(у)ши своеи, еже творить и митрополита Георгия русскаго написавша, а нет того нигдеже. Луче бы им, да быша добру другу поручили, давше что, а бы последи исправил или убогым и всем Б(о)га ради приемлющим. Егда ли емлешь сорокоустие, от того научи гл(а)голя: Брате, а быти како не съгрешати боле, видиши ли, м(е)ртвец не съгрешает” (РГБ, собр. Рогожского кладбища, № 257. Л. 531 об.).

Эта статья из Вопросания Кирика по-разному понималась исследователями. Вопрос заключался в том, разрешал ли сорокоустие митрополит Георгий. Е.Е. Голубинский понимал ее как содержащую запрет со стороны Георгия на отправление сорокоустия по живых, давая следующий перевод приведенного фрагмента текста: “Нельзя, сказал, того запретить, так как приносят, желая спасения своей душе; хотя ты и приводишь Георгия митрополита русскаго, написавшего (запрещение), а нет того нигде” [4. Т. 1. С. 436; 2. С. 539].

Аргументом в пользу этого прочтения являлось наличие в “Заповеди ко исповедающимся сыном и дочерем”, которую Голубинский приписывал Георгию, статьи, содержащей подобный запрет: “Аще кто живъ сы вдасть за упокой сорокоустие пети за ся, то недостойно” [5. С. 119].

Совсем иначе толковал эту статью А.С. Павлов, предложивший следующий ее перевод из Вопросания Кирика: “Нельзя възбранять сорокоуста по живых, если они делают таковыя приношения для спасения души своей, что, как ты говоришь, написал и митрополит Георгий, хотя он нигде этого не писал. Я же думаю, что лучше бы им поручать доброму другу часть своего имения с тем, чтобы он, после их смерти, исправил по ним сорокоуст и раздал милостыню”. И далее: “Итак, весь контекст речи – скорее всего в пользу того, что Кирик имел в виду правило митр. Георгия, дозволяющее сорокоусты по живых, с чем был не вполне согласен Нифонт” [2. С. 346–347]. С. Смирнов, атрибутировавший, как уже говорилось, анонимное сочинение из Синод. № 3 митрополиту Георгию и отметивший в нем наличие правила, разрешающего сорокоустие по живых: “Аще кто жив дасть за ся сорокоустие, достойть Пети” [5. С. 40], тем не менее не дал окончательного ответа, кто из двух ученых прав в этом вопросе, хотя склонялся к мнению А.С. Павлова. Обнаружение текста на л. 30 из собр.

Юдина № 1 со всей определенностью констатирует, что в этом вопросе был прав А.С. Павлов, когда утверждал, что Георгий позволял отпращивать сорокоустие по живых.

Еще одна статья на л. 30–7. “А у попа своег(о) попадии не достоит комкати”, также находит соответствие в Вопросании Кирика, правда, в особой редакции этого памятника (в ней материал систематизирован не по вопросам Кирика, Или и Саввы новгородскому епископу Нифонту, а по различным рубрикам – “О кающихся”, “О женящихся”, “О наложницах”, “О усопших” и т.п., хотя не всегда последовательно). Эта статья находится в особой редакции в разделе “О соблажен(и)и”: «И рех, митрополит написал: “причаститис(я) попад(ь)и у своего попа [не] достоить. Есть ли грех то, ти он помолче» [5. С. 23]. Эта статья содержится и в тексте рукописи, названном Смирновым “Написанием митрополита Георгия русскаго и Феодоса”: 9. “От попа своего не достоить попадьи комкати” [5. С. 39]. Кроме того, она представлена в компиляции “Заповедь ко исповедающимся сыном и дочерем”: “У попа своего комкати попадьи [вариант: *не достоит*]” [5. С. 119]; правда, по спискам имеются разночтения, и лишь в одном из них содержится частица *не*, остальные списки дают утвердительный ответ на поставленный вопрос. Примечательно, что на рассматриваемом листе 30 нет соответствия еще одной статье, посвященной супружескому воздержанию во время Великого поста и упомянутой Кириком в его Вопросании как записанной за митрополитом Феодосом.

Таким образом, из трех пунктов Вопросания, где Кирик ссылается на митрополита, в нашем памятнике представлены два. Рассмотренные статьи пять и семь, содержащиеся на л. 30, дают определенный ответ о том, что эти правила входили в “Написание митрополита” Георгия и являются подтверждением как того, что перед нами подлинный памятник, составленный митрополитом Георгием, так и того, что новонайденный 30-й лист принадлежит тексту “Неведомых словес” митрополита Георгия. Тем самым ставится точка в споре между канонистами не только о существовании самого произведения Георгия, но и о толкованиях, которые они предлагали в связи со статьями, приписываемыми Георгию Кириком. Показательно, что оба текста, на которые ссылался Кирик, представлены в “Неведомых словесах” митрополита Георгия и анонимном тексте, названном Смирновым “Написание митрополита Георгия русскаго и Феодоса” в одной редакции.

Интересно, что правилам, изложенным на л. 30 памятника, соответствуют статьи из других сборников епитемийного характера, при этом наблюдается то же распределение в процентном отношении, что отметил и при издании основного текста “Неведомых словес” А.А. Турилов: как и в тексте на лл. 23–28, их наибольшее число совпадает с “Заповедью ко исповедающимся сыном и дочерем” [5. С. 117–121; №№ 45, 36, 50, 58, 59, 60, 82 и 19], а именно, из двадцати пунктов, изложенных Ге-

оргием на листе, с этим памятником совпадают восемь. Шесть правил в рассматриваемом тексте аналогичны пунктам из “Написания митрополита Георгия русскаго и Феодоса” [5. С. 39–40; №№ 22, 8, 9, 7, 5, 6]. Кроме того наблюдается совпадение анализируемого текста по трем пунктам с Заповедью “Аще епископ” [5. С. 137; №№ 16, 18, 19], “Правилom с именем Максима” [5. С. 51–53; №№ 5, 31], а также по одному пункту с “Правилom о церковном устроении” [5. С. 92; № 29] и с “Изложением правилom апостольским и отеческим” [5. С. 57; № 30].

В связи с тем, что Ответы митрополита Георгия дошли до нас в единственном известном на сегодняшний день списке, древность памятника может быть подтверждена его лингвистическим анализом. Отметим, что список XV века, как это и следует ожидать, не содержит архаичных орфографических черт, которые можно было бы отнести к правописанию протографа XI века. Однако он интересен своими ярко выраженными древнерусскими особенностями, среди которых укажем лексемы с начальным *o* вместо церковнославянского *e*: *одною*, а также начального *o* вместо *e* в ряде грецизмов: *опитемья*, *октения* (при наличии слова *епитемья*); полногласные формы *полотно*, *сорочица*, древнерусские причастные формы *вложачи*, *ведаючи*, *хотячи*; передачу этимологического сочетания *tj в ряде случаев как *ч*: *немочи* (быть нездоровым), *свечи*, *гачи*, *птичь*, *dj – как *ж*: *невежю*, *исповежю*; из грамматических форм представлена местоименная форма *собе*. Как древнейшую русскую особенность, на которую указывал еще акад. Соболевский [8. С. 150], можно упомянуть лексему *конархати* вместо *канонархати* (пропуск одного слога при двух тождественных).

В памятнике широко представлена восточнославянская лексика, зафиксированная по наиболее ранним древнерусским произведениям, что вполне объяснимо его непосредственной связью с бытовыми реалиями и обиходом древнерусского общества. Кроме того отмечается лексика, известная по наиболее ранним древнерусским оригинальным и переводным, а также церковнославянским (древнеболгарским) переводам. Укажем наиболее характерные примеры восточнославянизмов: *дньище* – “день пути”, зафиксирован только по древнерусским памятникам (Лаврентьевской, Ипатьевской, Переяславской, I Новгородской летописям, Хронике Георгия Амартола [9. Т. I]); лексема *коверь* отмечена по летописям, “Житию Андрея Юродивого”, “Сказанию о Борисе и Глебе”, “Уставу студийскому” [9. Т. I]; *налезти* – “встретить, найти”, глагол в этом значении известен только по древнерусским оригинальным и переводным текстам – летописям, “Житию Андрея Юродивого”, “Истории Иудейской войны” Иосифа Флавия [9. Т. II]; *ноли* – союз, характерный для оригинальных древнерусских сочинений – “Повести временных лет”, “Вопрошания Кирика”, “Поучения Владимира Мономаха” [9. Т. II]. Лексема *охабити* “покинуть, оставить”, “перестать, прекратить”, “отстать, воздержаться”,

“лишиться” отмечена в словарях также только по древнерусским произведениям – “Повести временных лет”, “Житию Андрея Юродивого”, сочинениям Феодосия Печерского, “Истории Иудейской войны” Иосифа Флавия [9. Т. II]; *попадия* – “жена священника” – известна по “Церковному Уставу Владимира”, “Хождению Богородицы по мукам”, “Вопрошанию Кирика”, Ипатьевской и I Новгородской летописям [9. Т. II]; *рота* – “клятва, присяга, клятвенное удостоверение”, зафиксирована по древнейшим древнерусским памятникам – “Договору Святослава”, “Житию Андрея Юродивого”, “Истории Иудейской войны” Иосифа Флавия, “Договору Игоря”, “Русской правде” Ярослава, Владимира Мономаха, в фразеологическом сочетании *на роту водити* – отмечено по летописям [9. Т. III]. Лексема *сирота* – в значении “нищий, бедняк”, “слуга, холоп” также является восточнославянизмом и зафиксирована в “Поучении Луки Жидяты”, “Поучении Ильи Новгородского”, “Слове о челяди”, в переносном значении “раб” употребляется в “Житии Андрея Юродивого” [9. Т. III]. Восточнославянизм *сорочица* (“исподняя рубашка”) встречается в “Житии Феодосия”, “Суздальской летописи”, “Пандектам” Никона Черногорца и т.д.; *стонога* – “мокрица” – отмечена по Дубенскому сборнику [9. Т. III]. Слово *челядин* – “раб” известно по древнейшим произведениям: “Договору Олега с греками” 911 года, “Договору Игоря” 945 года, “Русской правде” Ярослава, “Поучению Владимира Мономаха” [9. Т. III]. Число подобных примеров из “Неведомых словес”, характеризующих памятник как раннее древнерусское сочинение, сохранившее значительный пласт древнейшей восточнославянской лексики, далеко не исчерпывается приведенными примерами.

Вопрос о том, является ли произведение Георгия непосредственным переводом с греческого (а мы исходим из предположения, что сочинения первых русских митрополитов переводились при митрополичьей кафедре в Киеве [10. С. 76–78]), переработано ли оно Германом, бывшим, по мнению ученых, игуменом монастыря Спаса на Берестове [4. С. 301; 7. С. 213], или же оно было переделано другим анонимным древнерусским книжником, остается открытым. Несомненно, что “вопросная” часть в нем была сокращена, хотя само заглавие памятника свидетельствует о наличии когда-то самого вопрошания. Однако та часть памятника, которая сохранила ответы митрополита, в ряде случаев совпадающая с другими каноническими произведениями, могла и не подвергнуться существенной переработке, в связи с чем весьма вероятно, что в значительной части мы имеем подлинный текст Георгия, переведенный древнерусским книжником. В то же время сочинение Георгия лексически ближе оригинальным древнерусским памятникам, в том числе Вопрошанию Кирика, летописям, житиям, и изобилует характерными восточнославянизмами, безыскусностью и простотой построения фраз, что свидетельствует скорее об

обработке текста древнерусским книжником (возможно, самим игуменом Германом), чем о непосредственном переводе с греческого.

Литература

1. Павлов А. Критические опыты по истории древнейшей греко-русской полемики против латинян. СПб., 1878.
2. Павлов А.С. О сочинениях митрополита Георгия (открытое письмо Голубинскому) // Православное обозрение. 1881. № 1.
3. Баранкова Г.С. “Стязание с латиною” киевского митрополита Георгия // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2004–2005. М., 2006.
4. Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. М., 1997. Т. 1. Ч. 1–2.
5. Смирнов С. Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины (Тексты и заметки). М., 1912.
6. Мошкова Л.В., Турилов А.А. “Неведомые словеса” киевского митрополита Георгия // Славяне и их соседи. XX конф. пам. В.Д. Королюка. Сб. тезисов. М., 2001.
7. Турилов А.А. Ответы Георгия, митрополита Киевского, на вопросы игумена Германа – древнейшее русское “вопрошание” // Славянский мир между Римом и Константинополем. М., 2004.
8. Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка. М., 1907.
9. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. В 3 т. М., 2003.
10. Баранкова Г.С. Чиста молитва твоя. Поучение и послания древнерусским князьям киевского митрополита Никифора / Изд. подгот. Г.С. Баранкова. М., 2005.



НАИМЕНОВАНИЯ ПО РОДУ ЗАНЯТИЙ В ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

© О. А. ВОЙТЕНКО

Русская агиографическая традиция была заимствована у греческой, адаптирована и отчасти приумножила своеобразные стандартные семантические ряды уподоблений, легко распознаваемые на слух и не вызывающие эмоционального отторжения у молящихся. Это образы духовной светоносности; воды; благовоний; растений; музыкальных инструментов; животных; неодушевленных предметов богослужебного назначения и быта, явлений природы; топографии.

Каждый семантический ряд представляет собой интересный материал для исследования. Среди прочих особого внимания заслуживают названия в основном “библейских” профессий: *настырь*, *страж*, *делатель*, *сеятель*, *податель*.

Такие наименования мы попытаемся проанализировать. Сразу надо отметить, что здесь встречаются как немотивированные, безаффиксные названия лиц по роду деятельности – *страж*, *вождь*, так и мотивированные – *настырь*, *воин*, *сеятель*. Последние, безусловно, преобладают и выделяются по принципу общности словообразовательного форманта.

Имена существительные на *-тел-* имеют общее словообразовательное значение – “наименование лица по производимому действию”.

В рассмотренных церковнославянских акафистах отмечены следующие образования с суффиксом *-тел-*, обозначающие людей различных профессий:

воитель – “ратный, воин на деле, сражавшийся; иногда предводитель, правитель охочий до брани, воинственный, возбуждающий войну” [1. С. 231] – “Разум Богодухновен имея, о доблий *воителю* Пантелеимоне, изумил еси царя Максимиана мужеством души твоея и словесы” (Акафист св. целителю Пантелеймону. Здесь и далее курсив наш. – О.В.):

сеятель – “проповедник” [2. С. 701] – “Радуйся *сеятелю* мудрый благочестия” (Акафист св. целителю Пантелеймону);

делатель – “делец, делатель, исполнитель” – “отступите от мене вси *делатели* неправде; “работник” достоин бо ест *делатель* пишта своя; “крестьянин, земледелец” ч(елове)к насади виноград и въдаст и *делателем*” [3. С. 204];

строитель – это слово в церковнославянском языке имеет несколько значений: “устроитель, распорядитель, попечитель” – “Свят еси Господи Боже наш, властительный Содетелю видимых и невидимых, и любвеобильный *Строителю* настоящих и грядущих” (Акафист Троице) и “творец, создатель” – “О творче мой и вл(ады)ко помилуй мя к тебе зовуща: аллилуиа”; “Виждь д(у)ше моя окаянная, непостижимую бл(а)г(ос)ть *Создателя* своего” (Акафист к св. причастию). Современное профессиональное значение “специалист по строительным работам, соорудитель” [4] слово приобрело позднее.

Как показывает собранный материал, все образования на *-тел-* созданы на базе глаголов несовершенного вида действительного залога. По своей семантической наполняемости класс таких глаголов обозначает неопределенно-длительное действие, направленное на прямой объект. Все эти глаголы представляют собой “образования постоянного вида, вокруг которого организуются все явления, относящиеся к виду” [5. С. 240]. Суффикс *-тел-* в данном случае имеет значение постоянной деятельности и близкое к причастному: *воитель* – воюющий, *сеятель* – сеющий, *учитель* – учящий. Это подтверждают и слова А.А. Потехи: “Первобытное имя, предшествовавшее выделению категорий существительного и прилагательного... ближе всего подходило к причастию” [6]. И далее: “Первообразное причастие... было причастие-существительное, слово с определенной субстанцией и признаком, производимым ею, *nomina agentis*” [Там же. С. 82].

Итак, словам на *-тел-* свойственна “глагольность” семантики (“производящий данное действие”). Но иногда глагольный компонент ослабевает. Его место заполняют различные семантические оттенки, проступающие в текстовом окружении, например, “от Б(о)га еси пришел учитель” подразумевает учителя как святого посланника и не ставит на первый план семантику глагольной основы.

В акафистах можно отметить однокоренные синонимы роду деятельности: *целитель* – *целбник*, *воитель* – *воин*. В последнем случае суффикс *-ин-* восходит к индоевропейскому **oip* “один”. Следовательно, образования с ним наделены семантикой единичного представителя: *воин* – “сражающийся, воюющий один”.

Надо указать, что образование существительных мужского рода, обозначающих лиц по их деятельности, с помощью суффикса *-тел-* в церковнославянском языке является довольно продуктивным.

В исследованных акафистах мы обратили внимание на три слова: *мытарь* – “сборщик податей, лихоимец, притеснитель” – “Радуйся *мытарей* покаяния научивый” (Акафист св. прор. Иоанну Крестителю); *рыбáрь* – “рыбак” – “Иисусе, *рыбари* соделавый ловцы человеков” (Акафист Воскресению Христову);

вратáрь – “церковный служитель, которому поручен бывал в древности вход во священный храм, чтобы православных христиан до-

пускать, а отлученных и еретиков от святых врат изгонять” – “радуйся добрый ц(а)р(с)твия н(е)б(ес)наго *вратару*” (Акафист св. Петру и Павлу).

Две единицы функционируют в современном литературном языке: *вратарь*, *мытарь*. Существительное *рыбарь* было заменено словообразовательным синонимом с суффиксом *-ак-* – *рыбак*.

Суффикс *-ар-* является формантом неславянского, иностранного происхождения. “Это – латинское *-ārius*, распространившееся благодаря заимствованию слов, обозначающих профессию в греческом, кельтских, германских и, через посредство германских, в славянских языках” [5. С. 298–299].

Существительные с указанным формантом обозначают мужчин по их роду деятельности или по названиям предметов, с которыми имеют дело в процессе своей деятельности. В качестве мотивирующих для рассматриваемых производных выступают имена существительные, обозначающие объект деятельности: *мытарь* “сборщик податей” ← *мыто* “подать, пошлина” и т.п.

В церковнославянском языке помимо суффикса *-ар-* для образования существительных, называющих мужчин по роду их деятельности, успешно применялись синонимичные суффиксы *-ник-*, *-ец-*. Так, в церковнославянском словаре прот. Григория Дьяченко даны слова-синонимы, образованные этими суффиксами: *мытарь* – *мытник*, *вратарь* – *вратник*.

В церковнославянских акафистах отмечен также ряд образований с суффиксами *-ик-*, *-ник-*:

корабельник – “корабельщик, хозяин корабля, матрос, кораблеплаватель” – “Радуйся, во время глады *корабельником* явивыйся и пищу доставити повелевый” (Акафист свт. Спиридону);

наставник – “путеводитель, вождь, наставник, учитель” – “Радуйся, *наставниче* мой премудрый и предобрый” (Акафист Алексею Человеку Божию);

оружник – “могущий носить оружие, вооруженный воин” – “Радуйся в вертограде *оружниче* Хр(ис)тов мужественный” (Акафист св. Петру и Павлу);

сотник – “чиновник, имевший в ведомстве своем 100 воинов” “Корнилия *сотника*... крещением просветил еси” (Там же);

целебник – “исцеляющий болезни, врач” – “Миро излился на душу твою, Богомудрый *Целебниче*, от Утешителя Духа” (Акафист св. целителю Пантелеймону);

псаломник – “тот, кто поет псалмы” – “К нейже онъ со *псаломником* рече” (Служба с акафистом св. вмч. Варваре).

Исследователь Р.В. Железнова пишет: “Суффикс *-ник-* как самостоятельный элемент деривативного процесса возник еще в поздний праславянский период языкового развития в результате переразложе-

ния основ имен прилагательных на *-н* (праслав. **ьпъ*) и именного суффикса *-ікъ* со значением лица (т.е. суффикс *-ник-* представляет собой результат переразложения, т.к. звук *-н* в нем отвлечен от основ прилагательного). В результате этого процесса уже тогда в качестве производящих для праславянских образований типа *грешникъ* (праслав. **grěšnikъ*), *должникъ* (праслав. **dъlžnikъ*) стали выступать не основы имен прилагательных, а основы имен существительных как их генетически производящие основы. Изменение лексико-грамматической соотносительности между производными и их производящими явилось одной из важнейших причин морфологической абсорбции, в результате которой и возник суффикс *-ник-* в наименованиях по профессии, роду занятий" [7. С. 160]. С.Б. Бернштейн подчеркивает: "этот именной словообразовательный тип заменил более древнее сочетание двух или даже нескольких слов: **dъlžьпъ sьlověкъ* – *должникъ*" [8. С. 91].

Производные с суффиксом *-ник-*, мотивированные именами существительными, имеют словообразовательное значение "лицо по отношению к объекту действия": *оружник* – тот, кто носит оружие; *корабельник* – тот, кто управляет кораблем; *псаломник* – тот, кто поет псалмы.

По характеру производящих основ существительные с суффиксами *-ик-*, *-ник-* являются отыменными. Основа этих слов равна "свободной корневой морфеме".

Однако существительное *наставник* находится в рамках словообразовательной модели "основа инфинитива + суффикс *-ник-*" со значением "лицо по производимому действию". Это существительное образовано от переходного глагола несовершенного вида: *наставляти*.

Понятно, что отглагольные дериваты характеризуются непродуктивностью для именованя лиц по профессии в церковнославянском языке.

Существует еще один словообразовательный суффикс *-ец-*:

жрец – "священнослужитель, священник, приноситель жертвы, колдун" – "Жрецы же бесовстии завистию снѣдаему, подвигоша царя на ярость" (Акафист св. целителю Пантелеймону);

звездочтец – "астролог" – "Радуйся, всех *звездочтецев* умом Хр(ис)товым превозшедшая" (Служба с акафистом св. вмч. Варваре);

земледелец – "пахарь, землепашец" – "Егда же прииде к святому Спиридону знаемый *земледелец* прося помощи, даде ему злато" (Акафист свт. Спиридону);

купец – "торговец, купец" – "Радуйся, яко немилосердаго *купца* лишением имения наказал еси" (Там же);

псалмовец – "тот, кто поет, сочиняет псалмы" – "Радуйся, с(о)лнце селения Хр(ис)това, *псалмовецем* предъявленное" (Акафист Успению Пресвятой Богородицы).

По мнению исследователей, "суффикс *-ец-* как самостоятельный элемент словообразовательного процесса возник в поздний период развития праславянского языка из **ькъ* (и.-е. **ікъ*)" [7. С. 126].

Существительные с суффиксом *-ец-* являются наименованиями лиц по производимому действию, названному глагольной основой и обнаруживают лексико-семантическую связь со своими производящими основами. Общая схема данного словообразовательного типа выглядит так: “основа инфинитива глагола + суффикс *-ец-*”: *ловец* ← *ловити*, *жрец* ← *жрети* “приносить жертву Богу, закалывать, истреблять”, *купец* ← *купити*.

Как видно из этих примеров, суффикс *-ец-* мог присоединяться только к глаголам несовершенного вида, как переходным (*ловити*), так и непереходным (*жрети*) действительного залога, что отмечалось и для производных на *-тел-*. По своей семантике класс таких глаголов “обозначает неопределенно-длительное действие, переходящее на прямой объект... и близок к действительным причастиям настоящего времени” [7. С. 143].

Отглагольные производные с суффиксом *-ец-* большей частью встречаются в словах, образованных сложно-суффиксальным способом – *земледелец*, *звездочтец*, *псалмопевец*. Они имеют субстантивную и глагольную производящие основы: *земледелец* ← *земля* и *делати*.

Рассмотренная словообразовательная модель довольно продуктивна в церковнославянском языке.

Таким образом, производство значительного числа профессиональных наименований в церковнославянском языке осуществлялось при помощи морфем, обладавших свойствами высокой продуктивности, как *-ец-*, *-тел-*. Морфема *-ник-* для обозначения лиц по профессии – малопродуктивна. Зато она, в отличие от других групп, тяготеющих к глагольным производящим основам, весьма активно проявляет себя в отыменных образованиях.

Литература

1. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2002. Т. I.
2. *Дьяченко Г.* Полный церковнославянский словарь. М., 2005.
3. Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). М., 1999.
4. *Ожегов С.И.* и *Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 1999.
5. *Мейе А.* Общеславянский язык. М., 1951.
6. *Потебня А.А.* Из записок по русской грамматике. М., 1958.
7. *Железнова Р.В.* Из истории личных имен существительных в русском литературном языке (XI–XX вв.). Душанбе, 1988.
8. *Бернштейн С.Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961. Т. I.



Депутат, нотариус, губернатор...

Термины в правовом пространстве XVIII века

© Н. В. СМЕРНОВА

Реформы российской государственности и администрирования начала XVIII века способствовали не только появлению новых гражданских и административных отношений в обществе, но и формированию терминологической системы гражданского и административного законодательства. Усилиями Петра I гражданская юрисдикция была во многом изменена: появились новые правовые структуры, развивались новые отношения между правовыми субъектами, а, значит, изменялись термины и понятия. Для этого было использовано много заимствований из других языков.

Одним из таких терминов был *депутат* “доверенный (назначенный или избранный) представитель, посланник кого-л.” [1. Вып. 6]. Впервые зафиксирован в документах Московской законодательной комиссии уже в начале XVIII века: “Города Харькова избранный голова... с прочими городскими жителями дали сей наказ избранному городом Депутату” (Материалы Екатерининской законодательной комиссии. 1767–1769). Слово *депутат* пришло в русский язык из немецкого, где *Deputat* – обозначало “запас”. Несомненно, что здесь очевидны латинские истоки, где, например, вариант *deputation* означал “группу полномочных лиц, отправляемых куда-либо”. Созвучная форма *депутация* фиксируется в документах 1713 года: “Послать ве-

ликую депутацию во все города провинции голландской... для принуждения к заплате денег войскам чужестранным” (Архив кн. Ф.А. Куракина. 1661–1727).

Судьба термина и адаптация в правовом пространстве происходила сложно: наряду с первым значением уже в XVIII веке отмечено и другое – “доверенное лицо Военной коллегии, посылаемое для допроса ответчика или свидетеля, если они не могут явиться в суд”. В процессе семантизации лексемы уже в XVIII веке сложился синонимический ряд: *выборный, доверенный, уполномоченный, поверенный, учрежденный, депутат, посланник*: “Два депутата от князя ракоцкого у перваго везиры аудиенцию имели” (Ведомости времен Петра Великого. 1703–1719).

В процессе употребления термина расширялась его семантика: уже в 1719 году лексема обозначала члена законодательного собрания: “Из сих седми провинцей посылаются известные депутаты в гагу... и тамо оныя о важных государственных делах разсуждают” (И. Гюбнер. Земноводного круга краткое описание... 1719).

Ушел из активного употребления *депутат* как “сборщик, заготовитель провианта”: “Токмо б их <польских хоронгвей> в тех местностях бытии депутатом для збору, а не станцыи свои иметь” (Письма и бумаги императора Петра Великого. 1683–1712). Устаревает и выходит из употребления термин *депутентер* в значении “сборщик, заготовитель провианта”, хотя еще в 1760 году в юридических бумагах можно найти записку: “А сего числа чрез Пархвиц следовали хлебники и арьбергарт двух человек депутатентеров из Вийциха” (Семилетняя война. 1756–1762).

Обобщающее понятие “депутатство” также находит активное применение в юридическом лексиконе: “Депутатства робят слепцов, богадельников перед Национальным Собранием, говорят речи” (Письма кн. А.М. Белосельского-Белозерского. 1792–1793). Здесь термин употреблен в значении “посольство, посланник”.

Таким образом, адаптируясь и активно семантизируясь в русском языке XVIII века термин *депутат* прочно вошел в систему русской юридической терминологии, будучи представленным как в синонимических цепочках, так и образовав словарные гнезда на основе морфем русского языка – *депутат, депутатство, депутатский*.

Другим примером заимствования и терминообразования в русском языке XVIII века является *нотариус*, зафиксированный в документах 1698 года. Вероятно, лексема могла появиться из итальянского *notario* “нотариус”, французского *notaire*, голландского *notaris*, немецкого *Notar* и т.д. [2]. Очень много юридических терминов русский язык заимствовал через языки-посредники, в данном случае “языком-донором” мог стать любой европейский язык, что подтверждает и М. Фасмер: «начиная с Петра I, тогда также *нотарий, нотер* <...> из ср.-лат.

pōtārius “писец” <...> Вероятно, через польск. notarialny из ср.-лат. pōtāriālis” [3].

Семантизация термина также не была однозначной: слово, пришедшее в русскую юриспруденцию с запада, такое же – “должностное лицо, составляющее и свидетельствующее юридические документы”. С 1729 года *нотариус* имеет уже другое значение – “лицо, свидетельствующее долговые обязательства и осуществляющее протест векселей”: “Пока будут завещания, вверения наследств... то всегда пребудут тяжбы, и станут посещаться кабинеты Судей, Стряпчих, Конторки Прокуроров и Нотариев” (Рассуждения о благоудении всенародном... 1780); “Нотариусы же наши учреждены для протеста или засвидетельствования долговых, а не брачных обязательств” (Зритель. 1792).

С учреждением петровских коллегий *нотариус* приобретает еще одно значение – “протоколист и хранитель дел в петровских коллегиях и конторах”.

Термин *нотарий* кроме уже указанных значений употреблялся в документах и как “писец”. Например, в правовых источниках 1705 года читаем: “Андриан, ста посреде и к Нотарием <на поле: писцом> пишущим имена Мченическая рече: напишете и мое имя с сими Стыми, и аз бо есмь Хрстианин”.

Адаптируясь в русском языке, термин-заимствование *нотариус* с помощью русских морфем создает свои производные, образуя словарное гнездо: *нотариусов, нотариев, нотариусский* с вариантом *нотариуский, нотерский* (уходит к концу XVIII века): “Не возможно... почитать его за товарища в братстве, доколе не подпишем в регестре нотерском [или писцовом]” (История о орденах или чинах воинских... 1710); “Дела, правление, Нотариусово, Нотариево” (Письма и бумаги имп. Петра Великого).

Одним из новых терминов этого словарного гнезда стало слово *нотариальный*, фиксируемое впервые в 1724 году. Значение термина – “относящийся к нотариусу; свидетельствованный нотариусом” (Исторический и географический месяцеслов).

В отличие от других прилагательных *нотариальный* появилось в русском языке как прямое заимствование – из английского *notarial*, либо голландского *notariaal*, возможно, немецкого *notarialisch*: “Все корабли... которые через Зунд ходят и там свое генерально ведение и роспись составляют, повинны... еще и нотариальную или засвидетельствованную, копию с их генерального ведения и росписей сюда привезт” (Полное собрание законов...).

Яркими признаками активной адаптации в русском языке является создание на базе слова свободных и несвободных устойчивых сочетаний, например – *нотариус публичный, нотариус народный, нотариус присяжный*: “Что к сему вышепомянутому договору обои договарива-

ющиеся ...сами руки и печати свои приложили... свидетельствую: Фридерик Вилгелм Шумахер, цесарский подтвержденной народной нотариус” (Памятники дипломатических сношений... 1682–1699; “По Российскому... закону протест чинить должен публичный Нотариус” (Начальные основы вексельного права. 1768).

Уже в 1764 году из французского *notariat*, или немецкого *Notariat* в русском языке фиксируется термин *нотариат* в значении “чин, должность, место, дела, правление Нотариусово, Нотариево, нотариат” (Новый лексикон... Волчкова. 1755).

В 1719 году в русский правовой язык от латинского *notificatio* посредством французского языка (*notification*), или немецкого (*Notifikation*) пришел термин *нотификация* – “уведомление, извещение о чем-либо”. В деловых бумагах Петра Великого он употребляется довольно часто: “Поздравить ее Королеву о вступлении оной на престол Королевства Шведскаго, и благодарить за учиненную о том Его Царскому Величеству... нотификацию” (Журнал... Петра Великого).

Тогда же появляется и глагол *нотификовать* “уведомлять, извещать”, имеющий позднелатинскую основу, термин пришел в российское право посредством немецкого *notificieren*: «По том нотификовал он на письме о совершении своего “брака”», – читаем в разделе по гражданским делам (Ведомости времен Петра Великого).

К этому же словарному гнезду относится прилагательное *нотификальный* (*нотификательный*), образовавшее в XVIII веке несвободное словосочетание *нотификальная грамота* со значением “содержащая нотификацию”.

Новое административно-территориальное деление России вызвало появление слов *губерния*, *губернатор*. Корневая часть термина, по-видимому, пришла в русский язык из французского *gouverneur* [1. Вып. 6], то же, что *губернатор*: “Ныне губернер Стренберх салдат и прочих умирающих в Риге... на всякой день отпускает в Двину под лед”. Эта запись сделана Петром I в 1710 году [4]. Тогда наряду с современным *губернатор* применялось и *губернер* “комендант крепости, правитель города”, а значение “начальник губернии в России” слово получило от первоначального западноевропейского, где лексема тоже обозначала правителя территориального деления (провинции, графства, департамента и т.п.). Значение “воспитатель, гувернер”, таким образом, не стало единственным, хотя на первых порах известны примеры использования *губернатор* и в этом значении: “На ту его бытность в Лейдене желаю в пансион какому немчину отдать, который бы и надзиратели был до тех мест, как губернатор сыщется” (Архив кн. Ф.А. Куракина). Полная адаптация терминов, произошедших от французского слова *gouverneur*, продолжалась активно в течение всего XVIII века. В начале века встречался вариант – *говернатор*

(1703), но позже лексема фиксируется словарями только в знакомом для нас виде.

Признаками активной семантизации и адаптации слова в русском языке является появление устойчивых сочетаний с ним. В российских административных структурах XVIII века известны должности *генерал-губернатора*, *гражданского губернатора*, частотны выражения *губернаторская власть*, *губернский город*, *губернская канцелярия*, *губернское правление*, *губернский магистрат*, *губернский город*.

Обобщая наши наблюдения, заметим, что в формировании юридической и общественно-политической терминологической системы в русском языке XVIII века большую роль сыграли заимствования, в связи с отсутствием соответствующих слов в русском языке. Активно семантизируясь в языковой среде России XVIII века, некоторые термины вошли в синонимические ряды; образовали словарные гнезда; сложили устойчивые словосочетания, что является ярким признаком активного словоупотребления. Другие – с помощью морфологических ресурсов русского языка произвели родственные слова. В некоторых случаях в заимствованиях развилась полисемия, например, *нотариус* “протоколист и хранитель дел в петровских коллегиях и конторах”; “писец”; “лицо, свидетельствующее юридические документы, деловые обязательства и осуществляющее протест векселей”; или произошла замена одних значений другими, как *губернатор* – “начальник губернии”, а не “воспитатель, гувернер”, *депутат* – “член законодательного собрания”, а не “сборщик, заготовитель провианта” и т.п.

Литература

1. Словарь русского языка XVIII века. М.–СПб., 1991–2005.
2. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь русского языка. М., 1994. Т. I.
3. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986–1987. Т. III.

Мурманск

К 180-летию со дня рождения



Л.Н. Толстой: “Неприменно надо улыбаться душою...”

© Д. А. РОМАНОВ,

доктор филологических наук,

© Т. С. НАУМОВА

Чрезвычайно велико число людей, входивших в круг общения Л.Н. Толстого. “Их перечень так велик, что без всякого преувеличения можно говорить о личных связях Толстого едва ли не со всеми лучшими представителями русской литературы и искусства второй половины XIX и начала XX века и со многими замечательными учеными этого времени” [1. С. 21]. Ясная Поляна стала буквально местом паломничества и для иностранцев, приезжающих к Толстому или поддерживающих с ним переписку со всех концов мира.

Но если представители других государств обычно стремились узнать точку зрения великого писателя, педагога, философа на те или иные вопросы, то огромное количество соотечественников Толстого смотрели на него как на влиятельного человека и ждали конкретной поддержки. Толстой был открыт для общения со всеми людьми независимо от их социального статуса, имущественного положения, национальности и т.д. Он всегда проявлял интерес к личности другого человека и, если это было необходимо, помогал. “С просьбами о помощи обращались к Л.Н. местные и дальние крестьяне и крестьянки, попавшие так или иначе в беду: приговоренные в тюрьму или к другому наказанию, отыскивающие свои права, кем-либо нарушенные, мелкие служащие, потерявшие почему-либо место, родственники приговоренных судом, всего чаще административно к высылке или тюрьме за деяния, квалифицированные “политическими”; в том числе и за хранение или распространение недозволенных к печати сочинений Л.Н.; приходили молодые люди обоего пола, исключенные из гимназии, семинарии или высшего учебного заведения. Решительно обо всех, если только рассказ их не был явно вымышлен, Л.Н. прини-

мался хлопотать: ехал, если нужно, в Тулу и там лично обращался к нужному в данном случае человеку или писал, прося разъяснения или помощи, многочисленным знакомым своим в Москве и Петербурге..." [2. С. 202].

Мемуарист Н.И. Тимковский всех посетителей Толстого разделял на три группы: 1) старые знакомые семьи Толстых; 2) любопытствующие, приезжающие взглянуть на писателя как на достопримечательность, исключительно ради престижа самого визита; Н.И. Тимковский называл этих людей "интервьюерами", и вполне понятны причины, по которым Толстой подобным визитеров недолюбливал: "Иной раз в нем кипело глухое раздражение, и заметно было, что он с трудом сдерживается. Мне казалось в такие минуты, что он раздражен против всех на свете, и больше всего – на самого себя..." [1. С. 436]; 3) последователи учения Толстого, подхватывавшие любую его мысль, развивая и подчас утрируя ее. По мнению Тимковского, эти люди "и вносили всего более фальши в атмосферу, окружавшую Толстого, хотя и силились быть простыми и искренними". Но сам писатель уважал их за последовательность и цельность. В.В. Стасов вспоминал: "...Дверь на улицу весь день открыта и всякий приходит и уходит, когда хочет и как хочет. Дом никогда не заперт, разве ночью" [3. С. 84].

Такая притягательность Толстого объяснялась не только его писательским авторитетом, но и тем, что он был очень приятен в общении. Об этом неоднократно упоминают многочисленные гости: "Лев Николаевич был необыкновенно приветлив со своими гостями, старался развлекать их всеми зависящими от него способами" [1. С. 247]; "Лев Николаевич очень редко бывал мрачным. Почти всегда был радостным и ласковым, особенно в последний период жизни" [3. С. 271].

Все, кто встречался с Толстым на протяжении его долгого жизненного пути, отмечали в нем эту необычайную приветливость. "Он был, в полном смысле, душой батареи. Толстой с нами – и мы не видим, как летит время, и нет конца общему веселью... нет графа, укатил в Симферополь – и все носы повесили", – вспоминает бывший товарищ Толстого по батарее [1. С. 51]; "Графа Толстого все очень полюбили за его характер. Он не был горд, а доступен, жил как хороший товарищ с офицерами...", – вторит ему Ю.И. Одаховский [Там же. С. 60].

Потребность в общении была у Толстого так велика, что он постоянно зазывал к себе друзей (хотя недостатка в гостях не испытывал): "звал и письмами, и на словах через дочь и через свояченицу (Кузминскую), и через Страхова, и через Ге (Петра)", – вспоминал В.В. Стасов, отмечая, что "письма его были так хороши, так сердечны" [3. С. 83]. И.Е. Репин получил от Толстого приглашение заходить к ним для предобеденной прогулки, когда бывает свободен [1. С. 480]. Возвращаясь в Ясную Поляну из имения своих знакомых Самариных, Толстой познакомился в вагоне поезда с другом П.Ф. Самарина Н.В. Да-

выдовым. К великой радости молодого юриста, писатель не только разговорился с ним, но и тут же пригласил побывать в Ясной Поляне [4. С. 250].

Воспоминания иностранных гостей Ясной Поляны также пестрят восторженными описаниями общения с Толстым. Датчанин П.Г. Ганзен отмечал чрезвычайную приветливость писателя (“приветливо поздоровался, выразил удовольствие познакомиться”), который на извинение за чересчур раннее утреннее прибытие ответил, что “мало спал в эту ночь, увлекшись своей последней работой”, но приезду гостя очень рад [1. С. 451]; “Граф, ожидавший меня, приветливо улыбнулся, спросил, как я доехал из Петербурга, и поинтересовался общими знакомыми”, – вспоминал Эмилий Диллон [1. С. 473].

Джордж Кеннан, американский журналист и путешественник, посетивший Толстого в 1886 году, писал: “И когда я в нескольких словах представился ему, он просто и от души выразил огромное удовольствие, которое, как он сказал, доставляет ему визит иностранца, особенно из Америки” [1. С. 366–367]. Но если сказанное можно рассматривать как обычную светскую вежливость, то всего удивительнее для Кеннана было видеть, что точно такой же прием был оказан кучеру, доставившему иностранца из Тулы: “Граф Толстой сразу поднялся, сердечно поприветствовал его, как старого знакомого, так же тепло пожал ему руку, как и мне, и с неподдельным интересом стал расспрашивать его о домашних делах и о последних новостях в Туле” [1. С. 367].

Степень контактности и благожелательности к каждому приходящему в его дом была у Толстого настолько высока, что он, по-видимому, не считал возможным отказать в общении никому из стремящихся к нему за советом и поддержкой. Так, весной 1900 года В.А. Поссе написал Толстому письмо с просьбой принять его и молодого писателя М. Горького. Несмотря на болезнь, Толстой пригласил приехать [3. С. 51].

Профессор А.Г. Русанов также вспоминал подобный случай: “Пришли мы не вовремя. Он только что прилег на диван, но, увидя нас, сказал, что рад поговорить с нами, и сел в мягкое кресло, откинувшись на спинку и оперши голову на руку” [3. С. 74].

Визит К. Бальмонта в Гаспру в 1901 году – еще одно доказательство сказанному: утомленный прогулкой, Толстой только попросил поэта прийти через час. “Почему Лев Толстой не прогнал меня, а принял меня как родного? Почему он оставил меня обедать и говорил со мной еще целый вечер, в окружении своей семьи? Почему он начал беседу, посмеиваясь надо мной и над моими стихами и дразня во мне задор, а потом, вдруг меняясь совершенно, голосом ласково-строгим спросил в упор:

– Да кто вы такой? Расскажите мне о себе” [5. С. 49].

Быть может, те строки, которые вписал Толстой в молодости в дневнике, вполне определяют его натуру: “Лучшее средство к истинному счастью жизни – это без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало: и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального” [6. С. 80]. Уже позже в письме к дочери Татьяне Толстой выразил свой принцип отношения к людям: “Непреренно надо улыбаться душою, не переставая, а этого невозможно делать, как только вообразишь себе, что сердиться или не любишь кого-то” [7. С. 95].

Однако нельзя сказать, что Толстой был лишен твердой воли и определенных принципов в формировании круга своего общения. Он мог быть строг и решителен в “отсечении” идейно неприемлемого им человека. Принципиально чуждые Толстому визиты нередко становились причиной категорического отказа Толстого от завязывания каких-либо отношений с человеком, известным ему лишь заочно. Приятель Толстого Д.Д. Оболенский приводил такой пример: “Лев Николаевич разрешил мне знакомить с ним моих друзей без предварительных извещений и церемоний. <...> И только раз Лев Николаевич мне предъявил отвод, и именно в отношении человека, про которого Лев Николаевич знал, что я очень его люблю и высоко ценю, и с которым мне хотелось познакомиться графа. Это был Михаил Дмитриевич Скобелев.

Совпало это с тем временем, когда Толстой уже начинал говорить и писать против войны, считая ее величайшим грехом. А потому, вероятно, и Скобелев, живший мыслями о войне и жаждавший войны, представлялся Льву Николаевичу чем-то кровожадным” [1. С. 198]. Примечательно, что такой же отказ ждал художника В.В. Верещагина, рассказавшего в печати о том, как он усердно уговаривал генерала А.П. Струкова повесить двух турок (сцена повешения нужна была ему для картины).

В отношениях с родными Толстой использовал временный отказ от общения в качестве порицания, упрека, проявления недовольства. “Наказание его было – немилость: не обращает внимания, не возьмет с собою, скажет что-нибудь ироническое”, – писал С.Л. Толстой [8. С. 90].

Значит, открытость Толстого вовсе не была безгранична. Как любой человек он уставал от обилия посетителей, это случалось тем быстрее, чем меньше цели он видел в их визите. К тому же он довольно быстро распрощался со всем, что было “комильфо”, и светские рауты, обычные для человека его звания и положения, уже его не привлекали. Д.П. Маковицкий отмечал: “Гости Льву Николаевичу были тяжелы, но он превозмогал себя и не показывал этого. Был с ними терпелив и ласков. Уезжающих гостей часто провожал вниз в вестибюль” [3. С. 278]. Что касается “идейных” посетителей, то Д.П. Маковицкий писал в своем дневнике: “...Т.к. почти все приходящие к Л.Н.

люди теперь опропагандированы политически, загипнотизированы, полемизируют с Л.Н., ему тяжело, и обыкновенно находит бесполезным с ними беседовать” [9. С. 221].

Быть приветливым Толстой старался даже тогда, когда это было сопряжено для него с определенными затруднениями морального порядка, причем подчеркнуто дружелюбно вел себя с людьми, которые были ему неприятны, но общения с которыми по каким-то причинам он не мог избежать. Например, чрезвычайно привязанный к дочерям, понимающим его лучше, чем сыновья, он очень ревниво следил за их сердечными увлечениями. Об этом вспоминала А.Л. Толстая: “Еще когда сестры не были замужем, я замечала, как мучительно страдал отец, когда кто-нибудь за ними ухаживал. Помимо воли он ревниво следил за всеми их движениями, вслушивался в интонации голоса, ловя в них кокетливые нотки. Иногда он с трудом сохранял спокойную вежливость с молодыми людьми, иногда, наоборот, делался с ними преувеличенно любезным, как бы подчеркивая этим недопустимость малейшей близости с его дочерьми” [10. С. 83–84].

Очень интересно в этом отношении воспоминание В.Г. Короленко о визите в Ясную Поляну в августе 1910 года. По словам Короленко, Толстой принял его “с какой-то ... даже неожиданной душевной лаской”: “...Из боковой аллеи довольно быстро вышел Толстой и сказал: «Ну, я вас ищу. Пойдем вдвоем. Англичане говорят: “Настоящую компанию составляют двое»» [11. С. 367]. При этом следует иметь в виду, что Толстой недолюбливал Короленко, о чем открыто признавался в компании близких знакомых [3. С. 77]. Подобное поведение Толстого становится еще яснее, если учитывать следующее свидетельство сына писателя: “Лев Николаевич относился к тем, кого не любил, особенно ласково”. Сергей Львович говорил это относительно одного соседа Ясной Поляны, которого он характеризовал словами: “Холодный, жестокий человек” [3. С. 271].

Кроме того, при всей приветливости Толстого, ему было крайне неприятно, когда кто-нибудь из прохожих узнавал его на улице, кланялся ему или провожал любопытным взглядом. Он был в общении необыкновенно скромным, не терпел повышенного внимания к своей персоне. Да и не считал себя персоной. “Все это раздражало его и нередко приводило в дурное настроение” [1. С. 400]. Вероятно, по той же причине Толстой просил Н.Н. Сергеенко, с которым присутствовал на лекции В. Соловьева в Петербурге, ни с кем его не знакомить [3. С. 127].

Примечательно, что на традиционную утреннюю прогулку Толстой всегда отправлялся один. Видимо, именно это давало ему силы, материал и нужное направление мыслей для последующей работы: “...Уединение та же молитва”, – говорил он [1. С. 460]. Даже на просьбу Софьи Андреевны взять ее на прогулку с собой Лев Николаевич

однажды ответил: “Нет, ты мне будешь мешать. Я обдумываю, что работать” [3. С. 269].

Толстой всегда умел найти с любым человеком общие интересы, тему для беседы. Т.А. Кузминская, перу которой принадлежат одни из самых подробных воспоминаний о писателе, отмечала: “Лев Николаевич всегда находил, что говорить со всеми...” [6. С. 105]; “Он каждому находил, что сказать, с кем поговорит серьезно, с кем пошутит...” – подтверждает ее кузина Е.В. Оболенская [1. С. 400]; “В нем была заметна большая наблюдательность, и он интересовался даже разными мелкими деталями. <...> Мне думается, что в то время он больше заставлял говорить своих собеседников, чем говорил сам”, – считал Н.И. Шатилов [1. С. 249].

При разговорах граф любил расспрашивать своих собеседников и узнавать их взгляды на различные вопросы. Любопытный факт о том, как выбиралась тема для беседы, привел Ю.И. Одаховский, участвовавший вместе с Толстым в военных действиях по обороне Севастополя: “...У графа Толстого возникла мысль, чтобы каждый из нас, присутствовавших тут же, рассказал про свои чувства в три момента – во время приготовления к бою с неприятелем, в самом бою и по окончании сражения” (запись А.В. Жиркевича, ГМТ, I А-8/8, № 2557). П.Г. Ганзен писал, что “предоставлял Льву Николаевичу самому выбирать тему для разговоров” [1. С. 465]. Подчас Толстой возвращался к интересовавшей его теме даже тогда, когда его собеседник о ней забывал (подобный случай описал И.М. Ивакин [1. С. 340]).

В случае недолгого знакомства или при первой встрече обычно основным предметом разговора становился сам собеседник, его нужды и проблемы, жизненные принципы, которых он придерживается. “...Лев Николаевич спросил, на каком факультете я обучаюсь, не балуюсь ли водкой, табаком и что я люблю читать”, – вспоминал знакомство с Толстым А.С. Вознесенский [4. С. 195]. Даже на смертном одре, в Астапове, Толстой расспрашивал восемнадцатилетнюю Марфушу Сысоеву, няню детей Озолиных, как ей живется и работается.

Что касается семьи Толстого, то В.В. Стасов утверждал, что его родные не оправдывали ожиданий писателя, так как были не в состоянии поддерживать разговор на интересующие его темы. «Я много раз видал, что он к ним обращается, подставляет им оказию: “Да ну же, да ну же, матушка, говори, толкуй, спорь!” – видно, он все надеется, только никогда ничего не выходит, и приходится сводить разговор на любимые у всего дома шахматы, шашки, хальму, что сделано, что надо сделать, куда съездить, кого повидать...”» [3. С. 92]. С.Л. Толстой писал: “...Он любил спрашивать о том, на что не хотелось отвечать...” [1. С. 206]. Поэтому за столом обыкновенно велся общий разговор, приезжие гости рассказывали какие-либо московские или петербургские новости.

По свидетельству племянницы Е.В. Оболенской, “Лев Николаевич за последний период своей жизни очень часто говорил о смерти, говорил о ней как о благе, как о желательном переходе из этой жизни в другую, как об освобождении” [2. С. 404]. Не исключено, что поводом этому послужила крайне напряженная обстановка, которая сложилась к тому времени в семье Толстых, а также убежденность Толстого в бесплодности литературного труда и тщете жизни.

Круг интересов Толстого был очень велик, что позволяло ему без труда находить тему для разговора с представителем любого социального слоя и профессии. Центральными темами можно назвать литературу; религию, несостоятельность православия; образование; политику; положение простого народа; жизненную тщету. Безусловно, на самом деле, Толстой не ограничивался указанными темами, поскольку всегда контролировал ход политического и общественного развития, его интересовали наиболее актуальные и значимые проблемы. “Разговор, сначала не клеившийся, сделался оживленным, когда Лев Николаевич наскочил на интересующую его теперь больше всего тему – о национализации земли и о проекте Генри Джорджа...”, – читаем мы в дневнике В.Ф. Лазурского от 24 июня 1894 г. [3. С. 10]; “Лев Николаевич... стал расспрашивать газетные подробности о новом президенте Казимире Перье и о чикагских беспорядках рабочих” [3. С. 13].

Указанные темы варьировались в зависимости от национальности и места проживания собеседника, а также от специфики его интересов: с японцем Толстой говорил о конфуцианстве, народном образовании в Японии и принципах национальной этики; с выходцем с Балкан обсуждал проблемы славянских народов; представителю Херсонской губернии рассказывал о сектантах, проживающих там; участникам революционного движения высказывал свое мнение о перспективах революции в России и странах Европы; в гостинице Калуги у коридорного спрашивал, хорош ли город.

Вполне естественно, что в разговорах с деятелями литературы большее место занимало обсуждение собственных произведений, а также книг других авторов и общих проблем литературы. «Если даже судить по одним лишь записям Горького в его очерке “Лев Толстой”, круг обсуждавшихся тем был неисчерпаемо широк. Здесь – так называемые “вечные” вопросы философии, религии и морали. И, наряду с ними, – самые животрепещущие вопросы политической жизни России кануна первой русской революции. Возникали имена десятков русских и зарубежных писателей, затрагивались тончайшие проблемы писательского искусства и художественного мастерства» [12. С. 131].

По воспоминаниям Горького, больше всего Толстой говорил “о боге, о мужике и о женщине. О литературе – редко и скучно, как будто литература чужое ему дело”; «Мне всегда казалось – и думаю, я не ошибаюсь, – Лев Николаевич не очень любил говорить о литературе,

но живо интересовался личностью литератора. Вопросы: “знаете вы его? какой он? где родился?” – я слышал очень часто»; “Зато он любит ставить трудные и коварные вопросы: “Что вы думаете о себе? Вы любите вашу жену? Как по-вашему, сын мой Лев – талантливый? Вам нравится Софья Андреевна?”; «Он почти никогда не говорил со мною на обычные свои темы – о всепрощении, любви к ближнему, о евангелии и буддизме, очевидно, сразу поняв, что все это было бы “не в коня корм”» [3. С. 424, 452, 425, 449].

Революционер и ученый Н.А. Морозов говорил, что “в беседе с Толстым чувствовал не недостаток тем, а недостаток знаний и времени. Судя по его рассказу и по другим сохранившимся материалам, речь шла о множестве острых, актуальных вопросов – о напряженном положении в стране, о действиях петербургской бюрократии, о всеобщем росте милитаризма и о многом другом” [12. С. 236].

Чуткость к потребностям чужой души, умение “дразнить задор” в человеке, чтобы помочь ему максимально открыться и избавиться от неловкости и страха, неизбежно возникающими у собеседника от сознания того, что он разговаривает с всемирно известным писателем, отсутствие социальных барьеров и максимальная открытость – вот, пожалуй, главные особенности, характеризующие контактность Л.Н. Толстого.

Литература

1. Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х т. Вступит. статья К.Н. Ломунова. Сост., подготовка текста и коммент. Г.В. Краснова. М., 1978. (Серия литературных мемуаров). Т. 1.
2. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х т. Под ред. В.Э. Вацура. М., 1981. Т. 2.
3. Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х т. / Под общ. ред. С.Н. Голубова. 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2.
4. Яснополянский сборник 2000: Статьи, материалы, публикации. Тула, 2000.
5. Воскресение. Историко-публицистический альманах. Тула, 1998. № 3.
6. Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1976.
7. Толстой С.М. Дети Толстого: Пер. с франц. / Предисл. А.Н. Полосиной. Тула, 1993.
8. Толстой С.Л. Очерки былого. Тула, 1965.
9. Яснополянский сборник 1998: Статьи, публикации. Тула, 1999.
10. Толстая А.Л. Дочь. М., 2000.
11. Короленко В.Г. Воспоминания. Статьи и письма. М., 1988.
12. Шифман А. Страницы жизни Льва Толстого. М., 1983.



“Глядя на лес, не вырастешь...”

О деепричастных оборотах в пословицах

© О. М. ЧУПАШЕВА,
кандидат филологических наук

Пословица – это одно из немногих произведений устного народного творчества, в котором используются деепричастия, например: “Не бравшись за топор, избы не срубишь”; “Не срубишь дуба, не отдув губы” [1]. Деепричастие обозначает действие, сопутствующее основному, выраженному глаголом-сказуемым. В рассматриваемых пословицах основное действие представлено как результат, следствие действия, обозначенного деепричастным оборотом. Пословица предупреждает о *негативных* последствиях, поэтому при глаголе нередко отрицательная частица *не*: “На чужую работу глядя, сыт *не* будешь”; “Глядя на лес, *не* вырастешь, а смотря на людей, богат *не* будешь”. В других пословицах подобные последствия представлены как результат отсутствия действия, выраженного деепричастием, поэтому не только при глаголе, но и при деепричастии употребляется частица *не*: “*Не* отрубишь дубка, *не* насадя пупка”; “*Не* бравшись за топор, избы *не* срубишь”.

Показательно, что в пословицах без отрицательных частиц деепричастие чаще обозначает состояние, а с отрицательными частицами оно сохраняет значение действия.

Предупреждая, предостерегая, пословица значением деепричастия сообщает при этом о времени, условии или образе, способе действия / состояния, то есть об обстоятельствах, при которых возникают нежелательные последствия. Это легко установить преобразованием предложений с деепричастными оборотами в соответствующие сложно-подчиненные предложения: “Лежа на печи, прогладил кирпичи”. –

Пока лежал на печи, прогладил кирпичи (значение времени); “На чужую работу глядя, сыт не будешь”. – *Если* на чужую работу глядишь, сыт не будешь и *Если* на чужую работу глядеть, сыт не будешь (значение условия). Значение образа, способа действия определяется путем подстановки вопросов *как? каким образом?*: “Сидит Елеся (как? каким образом?), ноги свеса”. Второстепенное действие, обозначенное деепричастием, является условием, причиной, следствием, осуществлением главного действия, представленного глаголом-сказуемым. Эти и некоторые другие грамматические обстоятельственные значения могут быть представлены и в различных сочетаниях в пределах одной поговорки. Приведем примеры: “На одном месте лежа, и камень мохом обрастает”. – *Когда* на одном месте лежит, и камень мохом обрастает; *Если* на одном месте лежит, и камень мохом обрастает (значение времени и условия). “Замерзла тетка, на печи лежа”. – Замерзла тетка, *пока* на печи лежала; Замерзла тетка, *хотя* на печи лежала (временное значение здесь совмещается с уступительным). “Отлежав бока, не любо и за молотило взяться”. – *Когда* отлежишь бока, не любо и за молотило взяться; *Если* отлежишь бока, не любо и за молотило взяться; *Так как* отлежал бока, не любо и за молотило взяться; Отлежал бока, *так что* не любо и за молотило взяться (временное, условное, причинное и следственное значения).

Эти обстоятельственные значения могли бы быть выражены и сложноподчиненными предложениями с соответствующими придаточными, однако поговорки с деепричастиями более кратки и выразительны. К тому же сложноподчиненными предложениями не передать одновременно той гаммы обстоятельственных значений, какие наблюдаем в предложениях с деепричастиями; выражаясь словами А.М. Пешковского, “это – легкое вооружение мысли в отличие от т я ж е л о г о вооружения отдельных придаточных предложений” [2].

Литература

1. Пословицы приводятся по изданию: *Даль В.И.* Пословицы русского народа: В 2-х т. М., 1984.
2. *Пешковский А.М.* Наш язык. М.–Л., 1927. Ч. 3. С. 249.

Мурманск

ТРУПЁРДА

© Л. Е. КРУГЛИКОВА,
доктор филологических наук

При чтении произведений русской литературы мы встречаемся со словом *трупёрда*, служащим для характеристики толстого, неповоротливого человека, например: “Влезли в вагон один русский с дочерью <...>, дочь *трупёрда* и дуботолка, они меня даже рассердили” (Достоевский. Письмо А.Г. Достоевской, 27 июля 1876 г. Здесь и далее курсив наш. – Л.К.); “Это моя *трупёрда* хоть на что-нибудь пригодится. Чем без толку чаем надуваться, пускай использует себя на образование порядочной пролетария” (А.Н. Толстой. Сожитель); “Может все со *трупёрдой* своей десятипудовой проклажается” (Зырянов. Кровавая земля). Данное слово широко представлено и в говорах.

В лингвистической литературе нет ответа на вопрос об этимологии указанного слова. Так, Л.В. Сахарный, включая его в группу слов, образованных от существительных, в то же время отмечает неясность его происхождения [1. С. 87–88]. М. Фасмер только констатирует со знаком вопроса возможность образования существительного *трупёрда* от слова *труп*, при этом не указывает семантику лексемы *труп* при таком образовании [2. Т. IV. С. 109]. Но если в современном русском языке данное слово обладает значением “мертвое тело человека или животного”, то ранее оно могло употребляться также для названия поля битвы с мертвыми телами; раны; пня [3. Т. III. Вып. 2. С. 1011–1012]. Весьма интересно выявить исходную семантику слова *труп* в качестве производящего для лексемы *трупёрда*.

Прежде всего, в цитатах, приведенных в словаре И.И. Срезневского под значением “труп, мертвое тело”, речь идет преимущественно о телах убитых, а не просто умерших. Об этом же свидетельствует метонимический перенос *труп* “поле битвы с мертвыми телами”. Более того, в Картоотеке “Словаря русских народных говоров” (СРНГ) мы нашли глагол *трупать*, который в вологодских диалектах имеет значение “бить, ударять”, а в форме совершенного вида *утрупать* означает “убить”: “*Утрупай* медведя, боярин будешь. Один медведя *утрупал*”. В севернорусских говорах употребляются и такие языковые единицы, как *трупнуть* “упасть, свалиться”, *трупнуть* “ударить, стукнуть”, “бросить, разбить”, “ударить, поразить (о молнии)”, *трупнуться* “подрагаться”, “упасть неожиданно”, *трупать* “бодать, тол-

кать”, “ударять, бить” [4. Вып. 6. С. 523, 517, 518]. В сербохорватском языке глагол *trūniti* имеет значения “неожиданно влететь, ворваться”, “сильно ударить, хлопнуть”. Наличие в санскритском языке слова *trup* в значении “убивать”, “повреждать”, “рассекать” свидетельствует об индоевропейском характере производящей основы *troup(o)-. В результате становится понятным значение “рана” у интересующего нас существительного в древнерусском языке.

Что же касается утраченного значения “пень” у слова *трун*, то его появление проявляется после обращения к однокоренным словам, наличествующим в говорах русского языка и других индоевропейских языках: пермское *трун* “тело человека или животного, исключая голову и конечности, туловище” – “От трупу начинается шея. Голову отсекут, и остается труп. Туша ле, труп ле – одно и то же”; псковское *трунить* “мельчить, крошить”; псковское и тверское *трупершить* “резать, отделять” – “*Трупершить* себе краюшку”; смоленское *трупацить* “кушанье разливать” (т.е. опять же делить на части); костромское *трун* “перхоть”; вологодское *труна* “перхоть”; южное *трун* “гроб” (Карт. СРНГ), кстати, зафиксировано существительное *троупль* со значением “ящик, гроб” [5. С. 737] и аналогичное, уже вышедшее из употребления “гроб, выдолбленный из ствола дерева” у слова *колода* [6. Вып. 7. С. 244]; вологодское *труна* “осадки в виде мелкого снега”, “перхоть” [4. Вып. 6. С. 523]; ярославское *трун* и *трунь* “перхоть”, *труна* “перхоть” [7. С. 119, 80]; вологодское *трунья* “лохмотья”; новгородское *трунье* “тряпоты” (Большая словарная картотека Института лингвистических исследований РАН. СПб. Далее – БСК); болгарское *трун* “труп”, “туловище”, “ствол (дерева)”; сербохорватское *trūn* “туловище”, “корпус (например, корабля)”, “пень, чурбан, колода”, *трупац* “пень, чурбан, колода”, *трупина*, *трупица* “пень, чурбан”, *трупло* “корпус, туловище”, “труп”; словенское *trup* “туловище”, “трюм или корпус (судна)”, “фюзеляж, корпус или остов (самолета)”, “торс”, *truplo* “труп”; чешское и словацкое *trup* “туловище”, “корпус (например, судна)”, “фюзеляж”; польское *trup* “труп”; белорусское *трун* “труп”; литовское *trupis* “рассыпчатый”, “хрупкий”, “мелкий”, *trupėti* “крошиться, дробиться”, *trupinti* “крошить, дробить”, *trupinys* “кроха”, *trupinelis* “крошка, крошечка”, *trupinamasis* “крошильный”, *trūptena* “матем. дробь”, *drubti* “крошиться”; латышское *drūpt* “крошиться, разламываться на куски”, *sadrūpt* “дробясь, распадаться; рассыпаться”, *drupināt* “крошить, размельчать”, *drupas* “рассыпчатый”, *drupens* “рассыпчатый”, *drupata* “кроха”, *drupatina* “крошечка”, *drupatas* “крошево”, *strups* “короткий”, *strupināt* “подрезать, укорачивать”, *strupastis* “кургузый, короткохвостый”, *strupulis* “чурбан”, “коротышка, толстяк”, *trupēt* “гнить, крошиться”; латинское *traps* и *trabs* “бревно, брус”, “ствол, дерево”, “дубина, палица”; древне-

прусское *trupis* “колода”, греческое *θρύπτω* “сокрушаю, разбиваю, размельчаю, дроблю”, *τρίφος* “обломок, кусок” и т.д.

Таким образом, лексема *труп* обозначает результат отрубания, отсечения, расчленения и т.п. чего-л., то, что получилось после совершения данного действия, причем предмет, на который было направлено действие, раньше находился в вертикальном положении, стоял. Не случайно глагол *трупнуть* в говорах зафиксирован в значении “упасть, свалиться”. Вот почему это мог быть и пень, и ствол дерева, и колода, из которой выдалбливали лодку или гроб, и туловище, а также впоследствии корпус корабля, фюзеляж (корпус, остов самолета). Именно в обобщенном виде как “обрубок, часть чего-л., нечто урезанное, неполное”, на наш взгляд, и надо сформулировать значение индоевропейской основы * *troupr(o)-*, а не в конкретизированном – “колода, бревно, пень”, как это дано в индо-германском Словаре [8. Р. 1071].

Именованье одним словом обрубленного дерева и человека не случайно.

Для древних народов, в том числе и славян, характерны представления о посмертном переходе души человека в дерево. “Допущение, что растения могут служить вместилищем странствующей души, вполне разъясняет понятие о душах растений. Последняя идея хорошо знакома примитивным племенам в тех частях земного шара, которые находились под более или менее сильным индуистским влиянием. Так, например, у даяков на острове Борнео можно слышать о человеческих душах, вселившихся в стволы деревьев. Они живут, но потеряли свою индивидуальность и чувствительность. Санталы в Бенгалии полагают, что жестокосердые мужчины и бездетные женщины вечно поедаются червями и змеями, тогда как добрые души входят в плодовые деревья. Но остается неясным, насколько приведенные воззрения можно считать независимыми от индуистских идей о переселении душ в растения” [9. С. 259].

Существовали целые священные рощи, где не рубили деревья, не собирали хворост. Как пишет Т.А. Агапкина, “дубы, вязы и другие крупные деревья относились к заповедным. Запрещалось рубить их и вообще наносить дереву какой-либо ущерб” [10. С. 159]. Может быть, поэтому срубленные или поваленные деревья воспринимались как люди, из которых улетучилась душа. Уподобление лежащих деревьев трупам – распространенная метафора в художественной литературе: “Кое-где лежат по лесу огромные стволы, сначала высохших, потом подгнивших у корня и наконец сломленных бурей дубов, лип, берез и осин. <...> Мне нередко случалось второпях вскочить на такой древесный труп и провалиться ногами до земли сквозь его внутренность” (Аксаков. Записки ружейного охотника); “Саше случилось звать и печали: Плакала Саша, как лес вырубали <...> Трупы деревьев не-

движно лежали; сучья ломались, скрипели, трещали, Жалобно листья шумели кругом” (Некрасов. Саша).

Тем, что душа покидает тело (будь то тело человека или дерева) вследствие отрубания, отсечения, расчленения и т.п., объясняется также появление у слов с корнем *труп-* значений “пустой внутри, полый” (др.-русск. *троупль*); “корпус (корабля); фюзеляж” (словен., чеш., словац. *trup*, с.-хорв. *trûn*).

Итак, как мы уже говорили, индоевропейская основа * *trou-*(о)- имеет значение “обрубок, часть чего-л., нечто урезанное, неполное”. Обращение к истории слова *труп* проясняет семантику существительного *трупёрда*. Можно говорить о том, что последнее представляет собой словообразовательную метафору, созданную по широко распространенной семантической модели “обрубок дерева, бревна” → “толстый, неповоротливый человек” (например, *колода, чурбан*, смол. *струбаль* “колода, чурбан”) → “неповоротливый человек” [Карт. СРНГ]; *обрубьш* “отрубьш, чурбан, отрубок бревна, коротыш” → “плотный малорослый человек” [11. Т. III. С. 616], а также приводимое уже нами латышское *strupulis* “чурбан” → “коротышка, толстяк”. Путем прибавления к исходному слову *труп* суффикса *-ёрд(а)*, который наличествует, например, в диалектном слове *лупёрда* “толстый неповоротливый человек” [12]. Сравним также *скупердяй, скупердяга*, архангельское *скуперда*, где выделяется морфема *-ерд*.

В качестве однокоренного синонима к слову *трупёрда* выступает зафиксированная в архангельских говорах лексема *труплё*.

В русских говорах Среднего Урала имеется такой вариант существительного *трупёрда* как *strupёрда*, в котором можно говорить о подвижном *с-*. Сравним с приведенными в Картотеке СРНГ смоленскими *трупехнуть* “гнить, разлагаться”, *strupехнуть* “сгнить, разложиться”, *strupержить* “сгнить”, псковскими *strupершить* “сгнить”, *strupерхлый* “трухлявый”; псковскими и тверскими *strupерхнуть* “от гниения распасться (о дереве)”, *strupерхлый* “подвергшийся порче (о рыбе)”, *strupершить* “резать, отделять”.

То, что срублено, отрублено, отсечено и т. п., перестав быть живым, начинает разлагаться, разрушаться. Точно так же, как и нечто старое или больное. Это нашло отражение при толковании слова *трупёрда* в говорах: “преимущественно о старых женщинах, мало сообразительных и фигурой напоминающих трухлявый гриб или дерево”; “вялый, неповоротливый человек, похожий на старика” (перм.), а также в семантике однокоренных с ним смоленского и брянского *трупехлый* “трухлявый” (*трупехлое дерево, трупехлый пень*) – «о человеке полном, но слабом здоровьем»; вятском *трупелый* “гнилой”; псковских *труплявый* “гнилой, источенный червями”, *трупняк* “гнилой лес”, *труперша* “гнилое дерево”; тамбовских *трупореховатость, трупорешина* “дряблость, скважность” [Карт. СРНГ]; *трупешка* “гни-

лая колода”, “дряблый человек, сравн. “развалина» [13. С. 919]; новгородском *трупъ* “гнилые предметы, гниль” [14. Вып. 11. С. 67]; *трупеть* “гнить” (вят., перм., Ср.Урал, юж. р-ны Красноярск. края); костромское *трупое* “гнилое” (БСК), *трупореховатый* “говоря о дереве: гнилой, изможденный и от него сделавшийся кропким”, “относительно ко льду”, *трупорешина* “гнилое место в дереве, источенное червями; червоточина” [15. Т. 6. Ст. 799]. В то же время в говорах находим и производное от существительного *трупёрда* прилагательное *трупёрдный* “здоровый, плотный, крепко сбитый”, записанное в Пензенской области в 1959–1960 гг. [Карт. СРНГ].

Литература

1. Сахарный Л.В. Словообразование личных имен существительных в русских говорах Среднего Урала // Вопросы истории и диалектологии русского языка: Сб. ст. Свердловск, 1963.
2. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973.
3. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1902–1903.
4. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1994–2005.
5. Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь (с внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений). М., 1900.
6. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975.
7. Ярославский областной словарь. Ярославль, 1981–1991.
8. Pokorny J. Indogermanisches etimologisches Wörterbuch. Bern, 1959.
9. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.
10. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995.
11. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1981–1982.
12. Словарь русских народных говоров. М.–Л.; СПб., 1965.
13. Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.
14. Новгородский областной словарь. Новгород, 1992–2000.
15. Словарь Академии Российской по азбучному порядку расположенный. СПб., 1806–1822.

Санкт-Петербург



О “летающих” рыбах

© Т. В. ШАЛАЕВА

В.И. Даль в двух словарных статьях, посвященных словообразовательному гнезду глагола *летать*, приводил существительные *летяга* “рыба налим” (тамб.) [1. Т. II] и *залётка* “рыба из рода семги, лосося, но поменьше ее” (арх.) [1. Т. I]. В русском языке лексемы, производные от глагола *летать*, обычно обозначают существ, способных к полету или быстрому передвижению, например: *летяга* “белка, имеющая перепонку между задними и передними лапами и поэтому способная планировать”; диалектные *летяга* “птица сова”, “летучая мышь”, “о быстром, подвижном человеке, непоседе” [2. Вып. 17]; *летучая рыба* “рыба жаркого пояса, которая выкидывается из воды и, махая широкими поджаберными перьями, переносится на несколько сажень” [1. Т. II]. Поэтому среди них странно обнаружить названия рыб, не имеющих отношения ни к воздушному пространству, ни к стремительному движению. По-видимому, источники происхождения этих слов следует искать за пределами гнезда *летать*.

В славянских языках существует мотивационная модель обозначения рыб по времени их нереста и, следовательно, промысла [3. С. 8]: русское диалектное *зимник* “рыба *Coregonus Fera Iurine*; сиг-лудога, когда его ловят подо льдом” [2. Вып. 11]; *летняя белуга* “белуга, выловленная с 21 июня по 21 июля”; *летняя рыба* “рыба, выловленная с половины мая по 8 июля” [2. Вып. 17]; *лётанки* “пескари” [2. Вып. 17] (время нереста: апрель–июнь); *лётка* “рыба густера” (время нереста: май–июнь), “лещ” (время нереста: апрель–май) [2. Вып. 17] (здесь, ве-

роятно, произошло изменение [e] на месте [ě] в [’o] аналогично переходу в [’o] исконного [e] (ср. *звёзды, сёла*); болгарское *леткач* “шемаи” [4. С. 105] (время нереста: лето); македонское *летница* “красноперка” [5. С. 161] (время нереста: апрель–июнь). Период нереста рыб дается по данным “Биологического энциклопедического словаря” [6]. Можно предположить, что *летяга* “налим” и *залётка* “рыба из рода семги, лосося” были образованы именно по этой модели.

Название налима не может быть прямым производным от *лето*, так как в это время года он впадает в спячку и, следовательно, не является объектом промысла. Но рыбы, принадлежащие к одному или разным семействам, довольно часто смешиваются, что проявляется в их обозначениях. В том числе в русском языке налим (*Lota lota*) может называться линем (*Surgimus tinca*): диалектное *лень* “рыба налим” [7. Т. 5], *линь* то же [8; 2. Вып. 17]. Таким образом, название *летяга*, вероятно, было перенесено на налима с другой рыбы, например, относящейся к семейству карповых, как и линь, лещ, пескарь, густера, красноперка и шемаи. Хотя приходится признать, что лексемы *летяга* как обозначения другой рыбы, кроме налима, в исследованных источниках не обнаружено.

Лексема *залётка* в “Словаре русских народных говоров” выносится в отдельную статью, и ее значение дается более точно, нежели у В.И. Даля: “вид семги, ловимой весной при вскрытии рек (Белого моря), невысокой по качеству, но изобилующей икрой” [2. Вып. 10]. Такое толкование позволяет обосновать семантическую связь *залётка* с гнездом *лето*: время лова многих перечисленных нами рыб также приходится на весну и начало лета. И русские говоры фиксируют близкие к *залётка* по значению слова: *лётний берег* “сорт семги, которую вылавливали на юго-западном (летнем) берегу Белого моря”, “лосось”; *лётняя сёмга* “лосось”; *лётняя* (в значении существительного) то же [2. Вып. 17] – то есть *залётка* могла быть образована непосредственно от *лето* “время года”, но от *лето* “южная, более теплая сторона”. Гласный [’o] в этой лексеме, видимо, появился аналогично огласовке в *лётка* “рыба густера”, “лещ”.

С другой стороны, Т.В. Горячева (устно) предположила связь *залётка* с корнем *лёд-* с оглушением конечного согласного: ср. русское диалектное *залёдка* “семга весеннего улова, с икрой (ловится после вскрытия рек и побережья моря)”, “сельдь, которую ловят вскоре после вскрытия рек” [2. Вып. 10]; *залёдный* “самый ранний по весне, первый по вскрытии реки, озера” [Там же].

Таким образом, родство налима и семги (лосося) с летучими созданиями – не более, чем лексикографический миф.

Литература

1. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1995.
2. Словарь русских народных говоров М.–Л.; СПб., 1965.
3. *Усачева В.В.* Названия пресноводных рыб в славянских языках. Автореф... канд. филол. наук. М., 1977.
4. *Усачева В.В.* Материалы для словаря славянских названий рыб. III (семейство Surrinidae) // *Этимология.* 1974. М., 1976.
5. *Усачева В.В.* Материалы для словаря славянских названий рыб. I. (семейство Surrinidae) // *Этимология.* 1971. М., 1973.
6. Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М.С. Гиляров. М., 1986.
7. Ярославский областной словарь / Науч. ред. Г.Г. Мельниченко. Вып. 1–10. Ярославль, 1981–1991.
8. Большой словарь донского казачества. М., 2003.

За знакомой строкой...



На край земли и на край света

© А. В. ГРИГОРЬЕВ,
кандидат филологических наук

“– Так ты пойдешь за мною всюду? – говорил он [Инсаров] ей [Елене] четверть часа спустя, по-прежнему окружая и поддерживая ее своими объятиями. – *Всюду, на край земли.* Где ты будешь, там я буду” (Тургенев. Накануне. Здесь и далее курсив наш. – А.Г.); “[Марианна:] – Да, бежать... Ведь и ты не останешься? Мы уйдем вместе... Нам надо будет работать вместе... Ведь ты пойдешь со мною? – *На край света!* – воскликнул Нежданов, и голос его внезапно зазвенел от волнения и какой-то порывистой благодарности” (Тургенев. Новь). В данных весьма сходных отрывках И.С. Тургенев использовал разные фразеологические выражения *на край земли и на край света*. В настоящее время ученые не видят различий в их семантике, считая, что они употребляются в значении “очень далеко”, когда “лицо или группа лиц направляется в крайне отдаленное место самостоятельно или взяв с собой другое лицо или направляет другое лицо или группу лиц за пределы досягаемости” [1. С. 406].

С чем же тогда связано появление в русском языке двух данных синонимичных выражений?

Как обычно указывается, выражение *на край земли*, встречающееся в варианте *от края до края земли*, восходит к бытовавшим у древних народов воззрениям о плоской Земле, со всех сторон окруженной океаном [2. С. 140–150; 3. С. 313]: «Древние народы представляли себе Землю в виде тела довольно причудливой формы: глубокой тарелки,

за краями которой простирался, окружая ее со всех сторон, бесконечный океан. Таким образом, люди полагали, что вполне возможно пройти ее *от края до края*. Наши представления в области географии стали совсем другими, а в языке по-прежнему живет давно уже отброшенный наукой образ. И, желая сказать: “Где-то очень далеко”, мы говорим: *На краю земли*, как будто она осталась для нас такой же тарелкой, какой была в глазах данайцев и троянцев, египтян и вавилонян» [4. С. 28–29].

Однако, исследуя древнейшие тексты, мы сталкиваемся с тем, что и в античных источниках, например, у Плутарха, и в Библии мы встречаем понятие о *крае земли* “*pēras* (или *ēschatōn, akrōn*) *tēs gēs*”, однако выражение *от края до края земли* мы находим только в Библии. Чем же это объясняется?

Греческое слово *gē* “земля” было весьма многозначным. Оно могло указывать не только на всю планету, весь мир, но и на конкретную страну, и земельное владение. Таким образом, сочетание *край земли* использовалось для обозначения как границы земли вообще, так и пределов земли познанной, известной, населенной. В качестве синонима у древних авторов, таких, как Эсхил и Еврипид, мы находим выражение *ēp' ēschatōis ōrōis* – буквально: “у последних, крайних межвых знаков” (то есть на краю *обитаемой* земли). Позднее используется оборот: *pēras tēs ōikōmēnēs* “край ойкумены”.

Греческое слово *ойкумена* буквально означает “обитаемая, населенная земля”. Это слово, образованное от глагола *ōikēō* “жить, обитать”, родственно слову *ōikōs* “дом, жилище, место обитания”.

Итак, в античной греческой традиции выражение *край земли* могло не только отражать архаические идеи и указывать на границы суши, но и обозначать конкретные пределы территории рода, племени или народа. Тем более что в античной географии бытовали представления как о плоской, так и о шарообразной Земле. Многие греческие мыслители, например, известный философ Платон, предполагали, что на противоположной стороне Земли находится загадочная страна, где живут антиподы. Тогда правомерно ли было говорить о *крае земли*? С уверенностью можно было лишь утверждать, что есть пределы и границы мест, населенных людьми, иначе говоря, границы, *края ойкумены*.

Несколько иначе выглядит библейская картина мира. В Библии в полной мере находят отражение иудейские космологические представления, во многом сходные с архаическими воззрениями шумеров и аккадцев, когда диск земли жестко связан с куполом неба. Отсюда *край земли* мыслился началом мира; и обороты *от края и до края земли* или *от края до края неба* (что, собственно, одно и то же, раз небо и земля соединены воедино) означают *от начала и до конца мира*, то есть “обо всем мире в целом”.

В Библии Бог рассеивает народы или несет благовест на всем пространстве земли – *от края и до края земли, от края земли до края неба*, а не только в конкретных частях мира (Втор. 28; 49, Иер. 12; 12, Мф. 24; 31 и др.). Данные выражения в Библии нередко встречаются в текстах, говорящих о всеобщем наказании, страдании, например: “На все горы в пустыне пришли опустошители; ибо меч Господа пожирает все от одного края земли до другого: нет мира ни для какой плоти” (Иер. 12; 12) или о всемирной победе Христова Царства. Подобное употребление сохранялось и в произведении русской классической литературы: “Не маслина цвела на ниве жизни, а волчек и терн, потому что нива жизни поливалась не благодатным дождем, а кровавым потом рабства, и над землею *от края до края* стоял стон угнетенных” (Короленко. Сказание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды); “Церковь пронесла Христа *от края и до края земли*, пронесла как Бога, без колебания, даже до истребления спорящих, сомневающих, колеблющихся” (Розанов. Опавшие листья).

Однако обратим внимание: сейчас мы можем сказать: “уехать *на край земли* и уехать *на край света*”. А вот выражение *от края и до края* если и употребляется в русском языке в значении “обо всем мире в целом” (а не только о населенной ее части), то только со словом *земля*, а не со словом *свет*: *от края (и) до края земли*, но нельзя: *от края и до края света*. В чем же дело?

В Библии, как в выражении *от края и до края земли*, так и во многих других случаях, за русским словом *земля* стоит древнееврейское *'erets*, которое означает “земля, почва, суша”. Лишь иногда, например, в Псалтыри (18, 5), мы встречаем точное указание на край обитаемой части Земли, когда используется слово *tebel* “мир, населенная часть мира”. При передаче Библии на европейские языки обычно использовался буквальный принцип перевода, отсюда:

'erets -> *gē* -> слав. и рус. *земля*, англ. *earth*, франц. *terre*;

tebel -> *ōikōtūmĕnĕ* -> слав. и рус. *вселенная*, англ. *world*, франц. *monde*.

Так в славянской и западноевропейской книжности независимо возникают выражения: *край земли – краи вселенныя* (славян.), *au bout du monde – aux confines de la terre* (франц.) и др. В славянских текстах мы встречаем многочисленные варианты перевода главного слова: *край, конец, предел, последние*. Это обусловлено тем, что они являются соответствиями различных греческих слов: *pēras, ēschatōn, akrōn*: “*От конца земли до конца земли*” (Втор. 13; 7); “И наведет Господь на ты язык издалеца *от края земли*” (Втор. 28; 49); “И развеет ты Господь Бог твой во вся языки, *от края земли даже до края*” (Втор. 28; 64); “Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их” (Пс. 18; 5); “Брани до *конца земли*” (Пс. 45; 10); “Меч господен пояст *от края даже до края*” (Иер. 12; 12); “Еже быти тебе во спасение даже до *последних земли*” (Деян. 13; 47).

В русской книжности данные выражения встречаются в библейских цитатах, в трудах византийских богословов – Отцов Церкви, известных в славянских переводах, и затем уже в сочинениях русских авторов: “в ко^нец вселен^ня” (13 слов Григория Богослова, XI в.); “от ч^етыр^ех кра^и вселен^ня” (Апокалипсис с Толкованиями Андрея Кесарийского, XII в.); “от всех ч^етыр^ех кра^и зем^ля” (Измарагд, XVI в.); “от кра^и зем^ля” (Слово и поучение против язычников, XVI в.), “от сам^ых кра^и вселен^ня” (письма Курбского).

Постепенно, но, вероятнее всего, не ранее конца XVII века, книжное слово *вселенная* в выражении *край вселенная* начинает вытесняться словом *свет*.

Слово *свет* первоначально в славянских текстах преимущественно означало “свет, состояние освещенности, освещенное время суток”, но уже с XI века появляется противопоставление *этот свет (с свет)* “мир, земля, земная жизнь” – *тот свет (он^нй свет)* “загробная жизнь”. У Владимира Мономаха в его “Почуении” мы читаем: “Кто не похвалит, ни прославляет силы твоея [то есть Бога] и твои(x) великы(x) чуде(с) и доброт, устроены(x) на семь свете”. Таким образом, постепенно, а особенно активно с XV века, в славянской книжности слово *свет* используется в значениях “земля, вселенная, все страны”, “мир, мироздание, жизнь, человеческое общество”. В народной традиции было широко распространено выражение *белый свет*. По мнению В.В. Колесова, сначала оно имело “тавтологическое” значение “светлый свет”, характерное для фольклорной поэзии (ср. *скорьб-тоска* и др.), затем – “окружающий героя неизведанный мир, который можно подчинить” и, наконец, “окружающий мир вообще”. Значит, и в книжной, и в народной традициях «слово *свет*, обозначающее результат зренья, – указывает В.В. Колесов, – приобрело значение “то, что познано, увидено», то есть “свет – это мир, который виден и потому может быть познан” [5. С. 232]. Неудивительно, что словом *свет* заменяется именно слово *вселенная* “обитаемая, населенная, то есть познанная земля, ойкумена”. Это и объясняет тот факт, что поскольку в выражении *от края до края земли* имеется в виду весь мир, а не только населенная его часть, в данном обороте употребляется слово *земля*, а не *вселенная* и не происходит его замены словом *свет*.

Анализ истории рассматриваемых выражений позволяет признать недостаточно обоснованным встречающееся в словарях предположение о том, что выражения *на край земли*, *на край света* и их варианты являются кальками с французского оборота *au bout du monde* [6. С. 91]. Замена книжного слова *вселенная* на нейтральное общеупотребительное *свет* может быть объяснима как внутриязыковыми причинами, так и влиянием близкородственных славянских языков. Так, в сербском и словенском *svět* – “мир, люди”, в чешском *svět* – “мир”. В

польском языке выражение *kraj swiata* фиксируется в “Лексиконе по-лоно-словенском” (1670 г.).

Впрочем, нельзя исключать, что выражения *au bout du monde* (франц), *am Ende der Welt* и подобные им повлияли на частотность употребления оборота *на край света* в русском языке конца XVIII – начала XIX века.

В XVIII веке данное выражение уже встречается у И.И. Дмитриева и Н.М. Карамзина, правда, у И.И. Дмитриева еще в несколько “неприличной” форме (*полетел*) *в край света*:

Другой [голубь] вспорхнул, взвился, летит, летит стрелою
И, верно б, сгоряча *в край света* залетел...

(Дмитриев. Два Голубя).

У А.С. Пушкина исследуемых выражений не зафиксировано. В поэме “Руслан и Людмила” мы встретим только оборот *за пределы света*. Это древнее библейское выражение *предел вселенной* (то есть *край света*) с заменой существительного:

“Ну, что же? где тут затрудненье?” –

Сказал я карле, – я готов;

Иду, хоть *за пределы света*”.

У М.Ю. Лермонтова оборота *на край (на краю) света* также нет, зато у Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова и других авторов второй половины XIX – начала XX века он встречается все более активно. Н.С. Лесков даже называет свою повесть “На краю света”. Таким образом, широкое распространение в новой форме фразеологизм *на край (на краю) света* получает со второй половины XIX века и вытесняет более древнее *край земли*. Возможно, эта ситуация и была обусловлена влиянием соответствующих выражений из европейских языков. У И.С. Тургенева встречаются оба выражения, в произведениях же Л.Н. Толстого, *край земли* – ни разу, а *на край света* – три раза. Такая же ситуация более активного употребления оборота *на край (на краю) света* характерна и для современного русского языка.

Однако долгое время в русской литературе появлялись отголоски древнерусских выражений: *края (концы) вселенной; во всех концах вселенной* “обо всем мире в целом”, *край вселенной* “очень далеко”, *от края вселенной* “издалека”, например:

Великий Петр свой гром с берегов Балтийских мещет,
Российский меч *во всех концах вселенной* блещет.

(Сумароков. Эпистола 2);

“Они идут сюда, может быть, *от края вселенной*, и негде яблоку упасть среди их голов...” (Арцыбашев. У последней черты.)

Интересно отметить, что в современном русском языке слово *конец* продолжает активно употребляться и со словом *земля*, и со словом *свет*, но преимущественно в выражениях *со всех концов земли* (*света*) или *во все концы земли* (*света*), поскольку в единственном числе возникает омонимия: *конец света* “край света” и “конец мира”. Подобные выражения восходят к Псалтыри: “упование всех *концей земли*” (64; 6).

Итак, фразеологизмы *на край земли* (*на краю земли*) и *на край света* (*на краю света*) отражают, с одной стороны, древнейшее представление о плоской Земле, а с другой – восприятие окружающего мира как территории своего рода или племени, а позднее как пространства, которое может быть познано, освоено и заселено.

Анализ материала позволяет пересмотреть традиционное мнение, согласно которому данные выражения, признаваемые *универсализмами* или *универсальными выражениями пословичного типа*, зарегистрированными в фольклоре многих народов, заимствуются посредством калькирования многими европейскими языками лишь в новое время через литературу. Исследуемые выражения, имеющие внебиблейские параллели, тем не менее, как мы видим, пришли в русский язык уже в древнейший период через посредство Священного Писания и святоотеческой традиции.

Литература

1. Большой фразеологический словарь русского языка. М., 2006.
2. Вартаньян Э.А. Из жизни слов. М., 1973.
3. Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии: историко-этимологический справочник. 2 изд. СПб., 2001.
4. Вартаньян Э.А. Эти мудреные слова. М., 1980.
5. Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. СПб., 2000.
6. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Опыт этимологического анализа русских фразеологизмов. М., 1987.